

И В А Н П А Н К Р А Т О В

ТОКСИЧНЫЙ КОМПОНЕНТ

-Как жизнь?
-Жив...
-Но это не ответ!
-Никаких “но”, главное
жив, остальное бонусы...



«Всем известны врачи-писатели – Конан Дойль, Вересаев, Чехов, Булгаков. У Ивана Панкратова есть все данные, чтобы оказаться в этом ряду. Особенно подкупает его манера повествования. Панкратов рассказывает свои истории, как носитель высшего знания, но без гордыни и апломба. Сейчас это редко бывает»

Андрей Рубанов

Бестеневая лампа

Иван Панкратов

Токсичный компонент

«Альтерлит»

2021

УДК 82-312.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Панкратов И.

Токсичный компонент / И. Панкратов — «Альтерлит»,
2021 — (Бестеневая лампа)

ISBN 978-5-4219-0013-9

Максим Добровольский – врач с огромным опытом, оказывается вовлечён в череду событий, которые могут поразить даже привычного к человеческим страданиям профессионала. Главный герой сталкивается с явлением, способным убить не только любовь к людям, но и угрожающим его собственной жизни.

УДК 82-312.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-4219-0013-9

© Панкратов И., 2021
© Альтерлит, 2021

Содержание

Часть первая. Переворачиватель пингвинов	6
1	6
2	13
3	19
4	23
5	28
6	39
7	43
8	50
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Иван Панкратов

ТОКСИЧНЫЙ КОМПОНЕНТ

Все совпадения – случайны

*Вся моя жизнь состоит из двух половин: первую я тебя ждал,
вторую я тебя помнил.*

Михаил Веллер

«Чуча-муча, пегий ослик!»

© Панкратов И., 2021

© ООО «Альтернативная литература», 2021

Часть первая. Переворачиватель пингвинов

1

– Доктор, мне плохо. – Максим Добровольский сверху вниз посмотрел на Клушина, лежащего в клинитроне. – Доктор, помогите мне, – жалобно стонал Клушин, хотя повода для паники не было.

Вполне заурядный пациент, ожоги площадью шестьдесят пять процентов, которые постепенно уменьшились до пятидесяти и уже очень скоро должны были превратиться в тридцать, а там и до операции недалеко. Деревенский алкоголик с уголовным прошлым: разобрал газонокосилку, слил с неё керосин в пластиковую бутылку и не придумал ничего лучше, как закурить и бросить окурочек куда-то себе за спину. Где, собственно, и стояла тара с горючим.

– Доктор... А-а-а, – попытался вызвать сочувствие Клушин какими-то совсем нереальными звуками.

– Что не так? – спросил Добровольский, за последние десять дней изрядно устав от этого цирка. Он знал слово в слово всё, о чём попросит пациент.

– Доктор, я унываю, – с гайморитным прононом произнёс Клушин.

– Я даже знаю, почему. – Максим прошёл вдоль клинитрона к тумбочке, посмотрел на то, что было навалено сверху. Бутылка минералки, пакет усиленного питания «Суппортан», тарелка с недоеденными макаронами, старый кнопочный телефон поверх книги Бушкова «Охота на пиранию». Точно посередине стояло небольшое красное пластиковое ведро – пациент отказался от катетера, мочился в «утку» и потом самостоятельно переливал в ведро. Когда оно наполнялось, Клушин подзывал санитарку, потому что понимал – ещё немного, и брызги начнут попадать в макароны или борщ.

– Доктор, вы сами говорите, что знаете... Можно же мне на ночь уколоть, правда? Вы обещали, что будете колоть в те дни, когда перевязки.

Добровольский вздохнул и посмотрел Клушину в глаза. Поняв пару дней назад, что пациент требует промедол даже тогда, когда его не брали на перевязку, Максим отменил наркотические анальгетики. Это послужило стимулом для ежедневного нытья, ведь наркоманы бывшими не бывают.

– Нет, – покачал головой хирург. – Тебе уже точно не надо. Договорились ведь. Анальгин, кетонал – в твоём распоряжении. И всё.

– Максим Петрович, подождите, – заметался – если можно так назвать попытки приподняться, уцепившись за борта клинитрона, Клушин. – Подождите, подождите... Вы всё правильно говорите, Максим Петрович. – Он немного задыхался, и это не понравилось Добровольскому. – Я же понимаю. Всё понимаю. Давайте так – я сегодня вечером подготовлюсь, вы мне назначите промедол последний раз, и с завтрашнего дня...

– Подготовишься? – спросил Добровольский, внимательно изучая стойку капельницы и мешки с плазмалитом для инфузии. – К чему, если не секрет? Не дожидаясь ответа, Максим посмотрел на то, как льётся раствор, и замедлил его роликовым зажимом. – Кто так быстро сделал? – строго спросил он у Клушина. – Валя! – позвал Добровольский сестру с поста.

– Это я немного подкрутил, – скривился больной. – Там же три литра, никаких нервов не хватит.

– Ты торопишься куда-то? – Добровольский и так понял, что пациент сам занимался регулированием инфузии. – Лежи, спи, книжку читай. Какая разница, сколько капает, три часа или десять?

– Звали, Максим Петрович? – в дверях стояла Валя с лотком, полным шприцев. – У меня инъекции.

– Он себе скорость накручивает, следить надо, – выговорил Добровольский. – Я думаю, чего он задышаться начал. А он чуть ли не литр струйно влил.

– Сдурел? – спросила Валя у Клушина. – Я тебе руки поотрываю. Это потому, что у него в палате соседей нет, – добавила она, обращаясь уже к хирургу. – Так бы сказали хоть, что он химичит.

– Кто его выдержит? У него и в реанимации рот не закрывался. Девчонки не знали, куда спрятаться.

Добровольский ещё раз проверил скорость инфузии, наклонился к пациенту и сурово добавил:

– Эти три литра должны целый день капать, с восьми до двадцати двух. А ты себе лёгкие заливаешь, отсюда и одышка, и кашель. Так в капельнице и утонуть можно.

– Я не буду больше, Максим Петрович, честно, не буду, – замотал головой Клушин. – Только давайте мой вопрос порешаем, я вас очень прошу.

– Нет. Порешали уже. Не будет тебе промедола. Сам же потом спасибо скажешь.

Он вышел из палаты в коридор и уже там услышал:

– И правильно, Максим Петрович! Так и надо! – с поддельной решимостью в голосе кричал пациент. – Вы молодец! Я ведь все понимаю... Я не наркоман!

Добровольский скептически усмехнулся последней фразе и, продолжая обход, вошёл в следующую палату.

В маленьком помещении на две кровати лежал только Егор Ворошилов. Соседа у него не было – с самого первого дня с ним была жена Кира. Ухаживала за мужем чуть ли не целыми днями, отлучаясь лишь на работу или в магазин. По договорённости с заведующим она ночевала в палате, хоть и была предупреждена – если мест не будет, её выпроводят в коридор с вещами.

Такое случалось довольно часто. Когда палаты были переполнены, сиделки или родственники спали в коридоре на стульях или на полу, устроившись на носилках от каталок. Чаще всего так непринуждённо вели себя узбечки, которых пациенты передавали «из рук в руки» тем, кто продолжал в них нуждаться.

Стоило признать, что именно азиатки – молчаливые, грустные, в платочках – ухаживали за пациентами лучше всех. Их подопечные всегда были накормлены, умыты, перестелены. Никаких следов пролежней, никаких забытых на пару дней памперсов. Даже тяжёлых больных они умудрялись ворочать в одиночку. Добровольский призывал сиделок надевать фартуки и нарукавники, чтобы не растаскивать заразу с промокших повязок на себя и по всему отделению, но они лишь виновато улыбались и продолжали делать, как делали. Совершенно непрошибаемые. Одна из них, Гюльнара (хирург знал по имени только её, остальных постоянно путал), как-то сказала ему в ответ на такое замечание:

– Доктор, я не могу, у меня в таком фартуке муж на рынке мясом торгует, а это люди... Может, им неприятно?

Аргумент был, если честно, так себе. Неубедительный. Максим махнул на проблему рукой и больше не заострял на ней внимание. Родственники пациентов, которым он тоже указывал на соблюдение санэпидрежима, относились к этому с пониманием лишь первые несколько дней. Перчатки, фартуки, антисептики всегда были в палатах в достаточном объёме, но с течением времени их постепенно начинали игнорировать.

– Родной же человек, – чаще всего сокрушались женщины, ухаживающие за родителями или детьми. – Как я к нему в этом скафандре?

На уточнение Добровольского, что домой к другим детям и родным они принесут на своих руках самую ужасную госпитальную флору города, подобные личности вздыхали и пожимали плечами – всё понимаем, спасибо за заботу, но как-нибудь без вас разберёмся.

Кира Ворошилова, напротив, была из тех, кто чётко следовал инструкциям лечащего врача. На подоконнике у неё всегда несколько флакончиков с антисептиком, стопка одноразовых фартуков и нарукавников, две коробки перчаток. В палате никаких неприятных запахов, и ни разу Максим не видел Ворошилова небритым и непричёсанным.

Судьба Егора была очень незавидной. Автокатастрофа выдернула первого помощника капитана восемь лет назад из рядов обычных людей и усадила в инвалидное кресло. Парализованные ноги, проблемы с органами малого таза – вплоть до того, что, кроме постоянного мочевого катетера, пришлось оперироваться и выводить колостому. При всём этом он пытался вести активную жизнь. Спустя пару лет после аварии сумел возглавить в городе организацию маломобильных людей, посещал собрания, выступал на разных мероприятиях – в общем, рулил тем, о чём раньше никогда и не задумывался.

В том, что случилось с ним около месяца назад, каждый из них пытался обвинять исключительно себя. Кира занималась на кухне приготовлением супа, Егор сидел с ноутбуком, планируя установку очередного пандуса для нуждающихся. Когда пришло сообщение об утверждении бюджета и сроках работ, он рванул в кресле на кухню поделиться радостной новостью – и воткнулся в жену с кастрюлей горячего супа.

Спасло его то, что ниже пояса он ничего не чувствовал. Правда, в ожидании «скорой» жена, закатив его в ванную, постоянно поливала мужу ноги из душевой лейки – это в какой-то степени помешало ожогам углубиться. Но всё-таки «третья А» и местами «третья Б» степени были исходом неудачного столкновения на кухне.

Ворошилов провёл несколько дней в реанимации, после чего Добровольский забрал его в отделение – готовить к пластике. Перевязывать такого пациента было просто – никаких наркозов он не требовал, боли не замечал. Сейчас дело продвигалось хорошо – первый этап аутодермопластики прошёл успешно, раны закрывались, донорские повязки с живота и груди пора уже было снимать. Через несколько дней планировался второй этап, заключительный.

– Кира, доктор пришёл, – приподнимаясь на локтях, сказал Ворошилов. – Доброе утро. У нас всё хорошо. Домой бы скорее, там без меня дела все стоят.

И он посмотрел на своё кресло возле умывальника.

– Доброе, – кивнул Максим. – Я вас специально держать не собираюсь. Как и обещал, после второй операции десять дней, не больше.

Кира тем временем подошла к шкафу, надела плащ и туфли, поверх которых уже были бахилы.

– Ладно, Мойдодыр, – улыбнулась она мужу. – Я на работе отмечусь, не могут без меня обойтись. А ты определись, какое кино сегодня смотреть будем. Только повеселее, а то после моей работы никакой драмы не хочется.

Она подошла к постели мужа, поцеловала его в свежевыбритую щеку, после чего вышла из палаты, на ходу глядя в экран своего телефона. Добровольский проводил её внимательным взглядом, после чего дождался, когда она закроет дверь, и спросил:

– Егор Львович, я вами уже больше месяца занимаюсь. До сих пор никак язык не повернулся спросить – почему она вас время от времени называет «Мойдодыр»? При чём здесь Чуковский? Вы вроде не «кривоногий и хромой». И на умывальник не похожи.

Ворошилов рассмеялся – громко, искренне. И даже хлопнул ладонью по одеялу.

– Не «кривоногий и хромой»? – переспросил он, прекратив смеяться. – Ну, тут я бы поспорил! Не поверите, Максим Петрович, к детским стихам это не имеет отношения. Я же после аварии ничего не чувствую – примерно от пупка и ниже. Всё чужое. Колостома, катетер... Бесплезные дыры в моем теле. А выше них – все прекрасно ощущаю. Тепло, холод, руки

Киры... Вот она и говорит – «мой – до дыр», – он погладил рукой по одеялу на животе. – До колостомы. До катетера. А ниже всех этих дыр – уж извините.

Закончив, он заглянул под одеяло, усмехнулся и посмотрел на доктора.

– Н-да... – протянул Добровольский. – Вот тебе и Чуковский.

Ему очень захотелось прямо сейчас оказаться в коридоре и не смотреть Ворошилову в глаза. Максим сделал пару шагов к двери, продолжая изображать, что заинтересован разговором, но при этом демонстрируя общую занятость и вовлеченность в процесс обхода.

– Хорошо, сегодня вазелин нанесём на донорские повязки, – сказал хирург, держась за ручку двери, – плёнкой целлофановой обернём. Завтра оно само всё отпадёт, – это он договаривал, прикрывая дверь со стороны коридора.

– Вдруг из маминой из спальни, кривоногий и хромой, выбегает умывальник и качает головой, – бурчал он себе под нос, возвращаясь в ординаторскую.

Зоя, санитарка-буфетчица, увидев доктора, заботливо спросила:

– Максим Петрович, вам каши не положить? Вкусная сегодня, рисовая.

– Одеяло убежало, улетела простыня, – задумчиво ответил Добровольский, совершенно не расслышав вопроса. – Что в маминой спальне делал умывальник?

– Я говорю, кашу будете? – громче переспросила Зоя. – Вы же с дежурства. Не ели, поди, ничего утром.

– Нет, спасибо, – покачал головой пришедший в себя Максим. – Каша – это совсем не моё. С детства. А хлеб я возьму.

Он выхватил из контейнера несколько кусков ароматного «подольского», обогнул тележку и направился в кабинет.

Положив хлеб на тарелку, включил чайник, а потом увидел на столе смятую бумажку в пятьдесят рублей и вспомнил, как ночью его разбудил звонок Замиры, медсестры из гнойной хирургии.

Замира олицетворяла собой ту самую узбечку, что вырвалась за пределы необразованного сообщества, закончила медучилище и теперь поглядывала сверху вниз на своих соотечественниц, выносящих «утки» и памперсы с дерьмом.

– Доктор, простите, что беспокою, но надо подойти, очень-очень надо, – сказала она торопливо в телефон. – У меня тут бабушка упала. На полу в палате сидит, я сама не подниму её на кровать. Поможете?

– А охрана что, никак? – буркнул Максим, понимая, что пойдёт сейчас в любом случае, чтобы посмотреть на бабушку.

– Они сказали: «Это не наше дело», – ответила Замира. – Вы придёте?

– Да куда я денусь. Сейчас, три минуты. Она головой не ударилась?

– Нет, в порядке с ней всё. Только поднять не могу.

Хирург встал, потянулся, посмотрел на часы. Четыре часа двенадцать минут. Быстро сполоснув лицо холодной водой, он вышел в коридор, стараясь закрыть дверь максимально тихо.

– Надо будет по пути в реанимацию заглянуть, а то я один не подниму, – сказал Добровольский себе под нос. Бабка заранее казалась ему огромной, стокилограммовой.

Разбудить реаниматолога в четыре утра, возможно, было не лучшей идеей – если бы его уже не разбудили чуть раньше. Дверь в ординаторской была распахнута, внутри горел свет. В реанимационном зале звонко упало на пол что-то металлическое, женский голос уверенно и отчётливо заматерился, после чего в коридоре показался Константин Небельский, заведующий отделением, который брал, в общем-то, не так уж и много дежурств по принципу «Не царское это дело». Именно Константина выпало позвать Максиму с собой в гнойную хирургию.

– Только не говори мне, что кто-то поступает, – с ходу заявил Небельский. – Совсем не до этого. Терапевт приволок инфаркт, только закончил с ним работать.

– «Я к вам, профессор, и вот по какому поводу», – покачал головой Добровольский, цитируя «Собачье сердце». – Внизу бабка с кровати упала – помоги поднять. Чувствую, что я с Замирой в четыре руки такой подвиг не потяну.

– Лишь бы не наркоз, – сказал Небельский. – Там перчатки дадут?

Максим кивнул. Они спустились вниз, в гнойную хирургию.

Диспозиция оказалась следующая: в первой палате на четыре койки точно в центре на полу сидела довольно грузная бабуля лет восьмидесяти в одной ночнушке, с растрёпанными волосами. Спиной она опиралась на кровать. Рядом стояла наполовину початая бутылка минералки. Правая нога у бабули отсутствовала.

Все кровати были заняты соседками примерно одного с бабушкой возраста. Соседки мрачно смотрели из-под одеял на происходящее, выражая недовольство включённым светом и нерасторопностью персонала. Добровольский помнил, что сюда чаще всего складывали пациентов с гангренами любого происхождения, будь то диабет или атеросклероз. Могла измениться лишь гендерная ориентация палаты. Либо деды, либо бабушки.

– Ноги нет – уже легче, – тихо сказал Небельский.

– Соглашусь, – кивнул Максим. – Где Замира? – спросил он чуть громче.

– Здесь, доктор, здесь, – из процедурной прибежала медсестра. – Ой, здравствуйте, – кивнула она Небельскому. – Простите, что разбудила.

– Как она вообще на полу оказалась? – спросил Константин. – Тут же перила должны быть в кровать вставлены. Я эту бабулю помню, Науменко её фамилия, она ещё у нас в первый день после операции всё куда-то собиралась. Когда переводили её, то предупреждали – надзор за ней нужен.

– Она перила выдёргивает, – буркнула одна из пациенток с кровати у двери. – И откуда только силы берутся. Выдёргивает и встать хочет. Говорит, ей позвонить надо.

– Надо, – с пола подтвердила бабуля. – Надо позвонить. Внучка давно не приходила, а у меня дома четыре котика.

– Какие котики?! – возмутилась у окна другая соседка; одеяло на её кровати недвусмысленно указывало на отсутствие обеих ног. – Нет у неё никаких котиков. И внучку никто ни разу не видел! А сама она из какого-то дома престарелых. Из ума просто выжила. Нам и так несладко, ещё и это чудо по ночам цирк устраивает!

– Общий возраст обитателей палаты – лет четырёхста, – шепнул Небельский Максиму. – И ещё друг с другом без конца воют. Ладно, что разговоры разговаривать! – добавил он для всех в палате. – Максим Петрович, мы с тобой под мышки возьмём, а Замира с санитаркой в нужный момент кровать под неё толкнут, чтобы села.

Они надели протянутые медсестрой перчатки, пристроились в двух сторон от Науменко, примерились так, чтобы не порвать и без того ветхую ночнушку, и на счёт «три» потянули вверх. Примерно через пару секунд Добровольскому захотелось бросить это безнадёжное мероприятие, но что-то скрипнуло – и бабуля приземлилась точно на кровать, хоть и на самый край.

Спина сказала Максиму: «Спасибо, но больше не пытайся!» Они с Костей аккуратно повалили бабушку на бок, а потом вместе с простыней подтянули на середину кровати. Замира тут же снова воткнула в пазы перила с той стороны, куда Науменко пыталась вставать.

– Ну-ка стойте! – громко сказала бабушка. – Подойди сюда.

И она ткнула пальцем в Добровольского. Максим пожал плечами и приблизился к кровати. Науменко засунула руку под подушку, вытащила что-то вроде косметички, медленно растянула «молнию» и достала оттуда пятьдесят рублей.

– Вот, – она точным движением опустила смятую в комок купюру в карман Добровольского. – Это тебе.

Максим оттопырил карман, взглянул. Потом достал деньги и положил бабушке на кровать рядом с подушкой.

– Сколько там? – спросил Небельский. – Пятьдесят? Хороший бизнес. Поднял бабушку ночью – пятьдесят рубликов в кассу.

Науменко нахмурилась и засопела, потом сумела снова достать деньги и протянуть их Максиму.

– Возьмите, – шепнула из-за спины Замира. – А то я у неё потом до утра давление не собою.

Добровольский посмотрел на медсестру, желая убедиться, серьёзно ли она это говорит. Потом взял деньги и убрал в карман хирургического костюма.

– Не та сумма, чтобы переживать, – покачал головой, выходя из палаты, Небельский. – Сахар купишь в ординаторскую.

Уходя, Добровольский выключил в палате свет. За спиной раздалось «Наконец-то!» и скрипнуло несколько кроватей.

Когда Максим вернулся в ординаторскую, было четыре сорок. Спать осталось чуть больше полутора часов – если ничего не произойдёт. Сунул руку в карман, достал смятый полтинник, бросил его на стол и присел на разложенный диван.

– Все в порядке? – услышал он за спиной тихий голос.

– Так, внутренние мелкие проблемы, – ответил Максим. – Ничего серьёзного. Бабушку с пола поднимали. Всего лишь центнер живого веса. Что-то типа «Здравствуй, грыжа!».

Они помолчали, а потом он вдруг сказал:

– Знаешь, кем я себя сейчас чувствую?

– Кем?

– Не поверишь.

– Поверю во что угодно.

– Есть такая профессия выдуманная – переворачиватель пингвинов. То есть до сегодняшнего дня я знал, что она выдуманная, а сейчас понял, что это я и есть. Они все падают, падают, а я их поднимаю и переворачиваю.

– Кто все? Ты о чём? – Его спины коснулись тонкие тёплые пальцы.

Максим засопел, недовольный непониманием его метафоры.

– Есть такой миф про Антарктиду. Когда пролетает вертолёт над пингвинами, они запрокидывают головы посмотреть на него и падают на спину, а встать обратно не могут. И на полярных станциях есть специальные люди – переворачиватели пингвинов. Они выходят и помогают им встать.

– А при чём здесь ты?

Добровольский почувствовал, что если он начнёт сейчас объяснять, то до утра времени на это точно не хватит. Он вздохнул, скрипнул зубами – и сдержался.

Наступила тишина. Было слышно, как тикают часы над дверью в ординаторскую и где-то плачет ребёнок. Максим в этой паузе медленно, с каждым шелчком секундной стрелки осмысливал произнесённое, его собеседница – услышанное. Потом она спросила:

– Спать будешь?

– Если получится.

– А если не получится?

Он оглянулся и покачал головой.

– Получится, уж поверь.

Он прилёг, натянул одеяло, почувствовал женское тело. Несмотря на вполне здоровые инстинкты, глаза его сами стали закрываться; он ощутил некое подобие сонного паралича, когда ты ещё здесь, в реальности, но уже не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой. Женщина рядом повернулась к нему, обняла, погладила, провела пальцем по редющим волосам.

Потом посмотрела на часы над дверью и аккуратно перебралась через засыпающего хирурга. Надев халат, она тихо выскользнула в коридор.

Спустя минуту Максим Петрович Добровольский уже сладко спал, подложив под щеку ладонь.

Ему снились пингвины.

2

– Я на выходных в поход ходил, – внезапно захотелось поделиться со всеми в операционной Максиму. – Сам по себе. Нашёл турагентство, записался, поехал.

– Так пошёл или поехал? – уточнила анестезистка Варя, набирая в шприц пропофол. В разговорах она участвовала наравне с докторами – позволял статус постоянной медсестры на наркозах.

– Сначала поехал, потом пошёл, – перекидывая через плечо привод дерматома, завёрнутый в стерильную простыню, уточнил Добровольский. – Педаль можно на мою сторону?.. Ага, спасибо.

– Подкрутите сами, сколько надо, – стоя спиной к хирургу и наводя порядок на столике, громко сказала Елена Владимировна. Операционной сестрой она была образцовой – такого высокого уровня ассистенции хирург раньше не видел. Девочку из медучилища в их районной больнице приходилось самостоятельно учить всему практически с азов, а за пожилой Марьей Дмитриевной надо было незаметно нюхать все шарики, чтобы она ничего не перепутала.

«Сколько надо» – это Елена Владимировна сказала про дерматом. Точнее, про толщину лоскута. Максим повернул устройство регулировочным винтом к себе, подкрутил на «ноль тридцать пять», зафиксировал.

– А куда ходили? – не унималась Варя. Ей сейчас делать было нечего, анестезиолог после вводного наркоза вышел позвонить в коридор, она сидела на стульчике и скучала.

– В заповедник, – ответил Добровольский, протягивая руку. Наташа, операционная санитарка, налила ему в ладонь немного вазелинового масла, Максим быстро пронёс его над столом и размазал по ноге пациента – там, откуда собирался брать лоскуты. – У нас же тут заповедников хватает, между прочим, – уточнил он. – И национальных парков всяких.

– И как, понравилось? – Елена Владимировна поднесла столик с инструментами поближе, но оставила пока в стороне. Всё, что им с Максимом могло сейчас понадобиться, она либо положила рядом с операционным полем, либо держала в руках.

– Давай я возьму сначала, а потом расскажу?

Не дожидаясь согласия, он наклонился над ногой пациента и посмотрел на Елену.

– Готова?

Она молча показала пинцет в своих руках.

– Можно? – это был уже вопрос к Варе.

– Можно, – кивнула она. – Уже давно можно.

Максим бросил последний взгляд на татуировку в виде какой-то непонятной лошади с крыльями на бедре пациента, нажал педаль, ощутил не очень быстрое, но ровное вращение диска лезвия в дерматоме и приложил его к коже. Елена быстро подхватила кончик лоскута и потянула на себя, после чего Добровольский двинул рукой с инструментом вверх по бедру. Медсестра вытягивала кожу, не позволяя ей встретиться с вращающимися деталями, а Максим следил за траекторией. Дисковый дерматом хоть и скользил по маслу, но из-за центробежной силы все время норовил уйти в сторону по направлению вращения. Через сантиметров двадцать от начала Добровольский приподнял край диска, отсёк – и лоскут остался у Елены в лапках пинцета. Она быстро поместила снятую кожу в банку с физраствором и приготовилась к продолжению.

Быстро наливающийся кровавой росой прямоугольник «донорского места» был идеален. Добровольский оценил его, взглянул на операционную сестру и пошёл на второй заход.

Когда все четыре лоскута лежали на дне банки, Елена Владимировна набросила на раны салфетку с перекисью, а сама отошла к перфоратору.

– Сразу предупреждаю, – услышал Максим. – Перфоратор уже на свалку пора. Ножи никакущие. По краю вообще не режут. Так что смотрите сами, хватит вам кожи или нет.

– Что ж делать, Леночка, – пожал плечами хирург. – Посмотрим, что выйдет. Вся надежда на твои золотые руки.

– «Леночка»... Я в ваших лоскутах лишние дырки не прогрызу, – буркнула сестра. – И вообще, могли бы и сами на перфораторе поработать.

Она взяла в руку салфетку, чтобы сделать подобие защитной прослойки между перчаткой и ручкой перфоратора.

– У меня скоро мозоли будут от этой хреновины, – добавила она перед первым оборотом. – Привыкли, что я тут все сама да сама.

– Зато у тебя, Лена, с правой руки удар, наверное, как у боксёра, – включилась в разговор Варя, оторвавшись от смартфона. – Ты столько этих лоскутов здесь открутила.

– Мне от этого... не легче... – сопела Елена Владимировна, пропуская первый через множество ножей, превращающих сплошной кусок кожи в подобие советской авоськи. Максим подошёл поближе, посмотрел на то, как с другой стороны дерматома вылезает сетчатый лоскут, подхватил его пинцетом и отправил в банку.

– Давай я сам. – Он легонько отодвинул Лену. – Больно смотреть.

Она разогнулась и протянула ему салфетку:

– Без неё никак, порвёте перчатку.

Добровольский достал из банки следующий лоскут и вдруг заметил:

– Странная какая ручка у перфоратора. Как будто вентиль на кране водопроводном.

– Так это и есть кран, – усмехнулась медсестра. – Родная ручка уже давно отвалилась. Ему лет десять, не меньше. Нам уже три года его из заявки вычёркивают – вот и выходим из положения как можем.

Добровольский разгладил очередной фрагмент кожи где пальцем, где пинцетом и принялся вращать ручку. Уже со второго оборота уважение Максима к Елене Владимировне выросло приблизительно вдвое и продолжило увеличиваться с каждым движением руки. Усталость в мышцах предплечья накапливалась в геометрической прогрессии. Он следил за тем, как лоскут проходил через ножи, и чувствовал, что после третьего запросто можно словить синдром де Кервена и долго потом маяться воспалением сухожилия первого пальца.

Из коридора тем временем вернулся Балашов.

– Две колонухи ещё сегодня, – с ходу сказал он Варе, имея в виду колоноскопии под наркозом. – Сходишь?

– Больше некому?

– Есть варианты? – развёл руками Балашов. – Оптимизация здравоохранения, если ты не в курсе. Пирогов с Боткиным и не предполагали...

– Пирогов не работал с ФОМСом, – ненадолго прервавшись, разогнулся от перфоратора Добровольский. – И слава богу, наверное. Представляешь, сколько ему штрафов выкатили бы по Крымской войне? За одну только гильотинную ампутацию.

– Это ещё почему? – удивился Балашов.

– Потому что она повторной госпитализации требует. – Максим взялся за последний лоскут. – А это дефект, между прочим.

Виталий слегка приподнял брови, оценивая услышанное. Потом подошёл к подоконнику с разложенными там протоколами и историями болезни, посмотрел на пациента, перевёл взгляд на аппарат, нажал на нём пару кнопок и достал из кармана телефон.

Добровольский закончил перфорацию кожи, взял банку с лоскутами и вернулся к столу. Ирина подготовила ему пинцеты, ножницы и два степлера.

– Так вот, – продолжил он рассказ, как будто и не было в нём паузы. – Сходил я в поход. Для разнообразия.

Он откинул стерильную простыню, обнажив раны на груди и правой руке пациента, расположил поближе банку и достал из неё первый лоскут.

– Народ подобрался по возрасту, молчаливый, – укладывая сеточку на рану, говорил Максим. – Мужики все какие-то небритые, суровые. Дамы с детьми – в меньшинстве. И как специально, инструктором девочка лет двадцати пяти. Может, чуть старше. Худенькая, рюкзак больше неё, но дело знает. В автобус всех посадила, по списку проверила, дала команду.

Добровольский расправил лоскут, взял степлер и чёткими движениями «пристрелил» край к здоровой коже. Это позволило разглаживать лоскут более смело, не боясь сдвинуть. Елена стояла рядом, держа наготове новый степлер.

– Пока ехали, она нам всякие истории рассказывала про деревни, что проезжаем, про реки – в целом занимательно, хоть и спать хотелось. Доехали до Андреевки, пересели в «Урал» – и по заповеднику.

– И где тут поход? – скептически возразил Балашов. – Так, поездочка.

– Не скажи. – Добровольский закончил с первым лоскутом, немного отклонился назад, словно художник у картины, придирчиво осмотрел контуры раны и заглянул в банку, как алкоголик в пустеющую тару. – Не везде нас на машине возили. Сначала пешочком в олений питомник пробежались. Я сразу детство вспомнил. Зоопарк на колёсах как-то к нам в город приезжал. Вагончики на рынке стояли, вонища вокруг жуткая, а мне лет восемь тогда было, радости полные штанишки. Помню, булочку оленю удалось протянуть. В том возрасте и не поймёшь, что им можно, а чего нельзя... Ты смотри, как ложится идеально. – Он разгладил очередной лоскут и подмигнул Елене Владимировне.

Его всегда удивляло то, как, при всей объективной невозможности таких совпадений взятые лоскуты очень часто идеально подходили к ранам. Причём не только по площади, но и по их геометрии, порой совершенно неповторимой. Стоит уйти чуток в сторону и сформировать «ухо» – и оно точно ложится в изгиб раны. Будто руку твою ведёт кто-то уверенный в получаемой конфигурации.

– Леночка, кончился. – Максим бросил в таз опустевший степлер. Сестра тут же протянула ему следующий. – А оленей – целое стадо, – продолжил он рассказ о поездке. – Штук сорок, наверное. И они никого не боятся. Подходят, окружают, выпрашивают. Нам маленькие солёные шоколадки дали для них – лопают так, что могло и до драки дойти. Дети в восторге. Да что дети – я сам как в детство вернулся. Фотографировал столько, что аж глаз дёргаться начал.

Он замолчал примерно на пару минут, целеустремлённо щёлкая степлером. Никто не задавал ему вопросов и не торопил с продолжением рассказа. Когда второй лоскут был окончательно закреплён, Максим оторвался от операционного поля и обвёл всех взглядом.

– Ждёте продолжения?

– Конечно, – отозвалась со своего места Варя. – Вы хоть что-то рассказываете. Этот, – она кивнула на Виталия, – просто в телефоне сидит. Виталий Александрович, вы скучный, не то что Максим Петрович! – и она пихнула Балашова коленкой.

– Я отпуск прикидываю, – буркнул тот, не отрываясь от экрана. – Максим про походы заговорил, я и вспомнил.

– Тебе там неинтересно будет. – Добровольский продолжил работу. – Ты же привык в Таиланде отдыхать, во Вьетнаме. А тут грязь, тайга, мошка, горы. Не твоё.

– Тебя послушать, так просто приморский Диснейленд. Сначала на автобусе, потом на машине, потом детство Бемби какое-то, фотографии, дети оленят кормят.

– Это сначала. – Максим посмотрел на операционную сестру, откровенно заскучившую у стены. – Елена Владимировна, раневое покрытие пока приготовьте... Сначала да, всё мило и красиво. А потом девочка наша передала руководство какому-то бородатому хрену в кирзачах, и он нас по тропе потащил. И всё в гору и в гору. Дети носятся как угорелые, а я чувствую, что сдуваюсь. Одышка появилась, а следом за ней желание попросить, чтоб пристрелили. Бородач

что-то громко рассказывает про медведей, тигров, леопардов – интересно рассказывает, хотелось бы догнать и послушать повнимательнее, а сил нет. Лена, ещё степлер!

– Тигра-то встретили? – вставила вопрос Варя. – Или хотя бы следы?

– Следов полно, только я за всеми не успевал. Отстал метров на пятьдесят. Смотрю, они кучкой присели над чем-то, посмотрели, встали и дальше. Я догону, гляну на это место – ничего не понимаю. То ли след, то ли просто грязь размазана. Тут они в очередной раз присели и долго не встают, оглядываются по сторонам. Даже как-то притихли. И сидели они там довольно долго, я успел их догнать. Наташа, воскопран готов? – Санитарка, стоя у своего нестерильного столика с коробкой раневого покрытия, молча кивнула. – Открывай. Штук восемь для начала, – прикинул он площадь раны в пересчёте на размер сеточек воскопрана, принял из разорванного пакета первую, уложил её сверху на лоскуты и пристрелил тремя скобками. Пальцы в перчатке сразу стали жирными и скользкими, степлер приготовился выскочить из руки на пол, и Добровольский сжал его чуть сильнее.

– Не тяните, Максим Петрович, – заныла Варя. – Что там было, что нашли?

– Когда я подошёл, бородач сидел на корточках над кучкой чего-то странного. Слизь зелёная, в ней пара перьев, какие-то косточки маленькие, как из пластмассы. Он в слизи веточкой ковыряет с глубокомысленным лицом и головой качает. Я мальчика одного ткнул пальцем в бок и спрашиваю шёпотом: «Это что такое?» И он на меня смотрит, как на дебила, и так же шёпотом мне, выпучив глаза, отвечает: «Вы что, не знаете? Да это же блевотина лисы!»

Максим обвёл всех взглядом, чтобы убедиться, что все его услышали и правильно поняли.

– Понимаете, мы все на корточках сидели вокруг блевотины лисы, я прошу простить мой плохой французский! Наш проводник с умным видом её изучал и рассказывал, что лиса съела предположительно птицу и потом почему-то с ней такой казус произошёл. Кто-то эту хрень даже фотографировал. Не шучу, какая-то дамочка чуть ли не селфи на этом фоне делала – наверное, чтобы потом написать, как она видела тигра, которого от страха перед ней стошнило.

Он прицепил последнюю сеточку воскопрана и сказал:

– Конец операции, всем спасибо.

Отойдя в сторону, хирург снял нарукавники вместе с перчатками, дождался, когда Наташа развяжет ему за спиной халат, сдёрнул фартук и вышел в предоперационную – умыться.

– А в итоге-то? – услышал он голос Вари. – Вам понравилось?

Максим пожал плечами, глядя в зеркало возле умывальника и не задумываясь о том, что Варя его не видит. Открыв кран, он ополоснул руки, наклонился, плеснул на шею, не обращая внимания на мокрые полосы на хирургическом костюме – они на общем фоне пятен от пота не сильно бросались в глаза. Потом, сняв маску, несколько раз набрал полные ладони воды и с наслаждением умыл лицо, на несколько секунд замерев над раковиной с прижатыми к щекам ладонями.

Из зеркала за ним наблюдал усталый небритый мужчина под пятьдесят с полосками на носу и щеках от хирургической маски. Добровольский криво улыбнулся ему, подмигнул, пытается вселить в себя немного оптимизма.

– Ну и ладно, не хотите отвечать – и не надо, – громко заявила из операционной Варя. – Но саму лису-то хоть увидели?

Максим вздохнул. В дверях показался Виталий с историей болезни в руке.

– Держи. Мы тут ещё немного с ним посидим. Как надо будет переложить – по селектору вызову.

Добровольский смотрел куда-то сквозь Балашова.

– Понимаешь, – вдруг тихо сказал он, – странная вокруг жизнь. Как этот поход. Идёшь, смотришь по сторонам. Вроде лес, олени, красиво всё, а в кульминации – блевотина лисы.

Стоишь, ковыряешь палочкой дерьмо, оглядываешься, а самой лисы-то и нет. Не хотелось бы прожить жизнь так, чтобы на вопрос «А что интересного в жизни было?» ты ответишь: «Блевотину лисью видел. Близко, как тебя сейчас». А лису? Лиса-то была?

– Ты так-то уж не заворачивай, Максим Петрович, – укоризненно посмотрел на него Виталий. – Лиса есть, это точно. Иначе откуда продукты её жизнедеятельности? Это ж как про суслика, которого ты не видишь, а он есть.

– Суслик был виртуальный, – возразил Добровольский. – А дерьмо вполне реальное. Пациент у тебя на столе – знаешь кто? В курсе, кому ты наркоз сегодня давал?

– Клушин твой? Наркоман со стажем. Гопник. Кто ещё? Сиделец, судя по татуировкам.

– Если бы всё так просто было... Я к тому, что мы жутких тварей лечим за бешеные бабки. Лет десять назад Клушин мать убил. Она медсестрой работала в районной больнице. От неё сложно оказалось скрыть, что наркотики принимаешь. Вены, шприцы, неадекватное поведение. Мне полицейский рассказал, который сюда приезжал из деревни к нему на беседу. Чего мать только не делала с ним – и дома запирала, и дружков в полицию сдавать ходила, а это у них не приветствуется. В общем, изрядно она им надоела. И дружки в итоге ультиматум поставили. Такую «черную метку» на мать. Мол, или – или. Он и убил. В колодец столкнул во дворе вечером и крышкой сверху прикрыл, чтобы не слышно было. Надеялся, как потом сказал следователю, утром маму в колодце найти. Но на его беду мимо двора коровы шли с выпаса, да не сами по себе, а с маленьким пастушонком. Мальчишка на каникулах летом подрабатывал. Он этого уroda у колодца разглядел, закричал и на помощь стал звать. И успели бы, наверное, но мама, когда падала, шею себе сломала и утонула моментально.

– А сынка сразу взяли? – наконец-то отпустил свой край истории Балашов.

– Конечно, – кивнул Добровольский. – Он так возле колодца и стоял. В наркотическом угаре. Трезвый вряд ли смог. Дали ему двенадцать лет. Нашли в этом предварительный сговор группы лиц. Когда его к нам привезли, он в приёмном так и представлялся: «Клушин Пётр Николаевич, сто пятая, часть вторая, двенадцать лет». А полицейский приезжал, потому что он вышел по УДО через восемь с половиной и сейчас у них «на карандаше», отмечаться ходит.

Максим на мгновение замолчал, а потом вдруг с ещё большим энтузиазмом продолжил:

– Понимаешь, его квота на лечение стоит полтора миллиона! Я думаю, если бы он узнал, сколько, то сказал: «Выписывайте домой, я деньгами возьму!» Гуманное, понимаешь, общечество.

– Это ж не нам решать, кому жить, а кому умирать, – осторожно парировал Виталий, зачем-то оглядываясь назад. – Ты потише, а то он уже проснуться может.

– Да и хрен бы с ним, – взмахнул историей, зажатой в кулаке, Добровольский. – Я на операцию шёл с какими-то странными мыслями. Что-то вроде: «Как такое может быть???» К нам порой узбеки детей приносят – а полисом обзавестись у них ума и желания не хватило. Я понимаю, они сами виноваты, регистрацию не получают, гражданство побоку, налогов не платят; полисов, соответственно, тоже нет. Но там ребёнок двухлетний, на него по глупости кастрюлю перевернули, и за лечение тысяч сто или двести платить надо, а если с реконструкциями, то и больше, потому что иностранным гражданам – платно, иначе никак. А этому – полтора миллиона. Понимаешь, Виталий? Он же ничего полезного не сделал и делать не будет. Мать убил – а мы его спасаем. И тут я вдруг про поход вспомнил – и оно сложилось всё. Работа у нас очень своеобразная. Будто ждём чего-то, золото ищем – а в итоге палочкой блевотину разгребаем. И нет никакой лисы! Нет – и такое ощущение, что и не было. Сразу дерьмо получилось. И таких у нас, – он показал рукой на операционный стол, – процентов восемьдесят. Бомжи, алкоголики, наркоманы, идиоты хронические – откуда их столько?!

Он закинул свободную от истории болезни руку за голову, жёстко проводя ладонью по шее, волосам, будто хотел стряхнуть с себя всё то, о чём говорил. Балашов словно почувствовал это и отступил на полшага назад, но вдруг спросил:

– Восемьдесят же – не сто? Значит, есть где-то в твоём зоопарке и олени, добрые и красивые, которых можно шоколадками покормить. Ты что-то совсем расклеился, Максим Петрович. Отдыхать надо больше, гулять, спортом заниматься. Или жениться, например. Не пробовал?

– Жениться?

– Спортom заниматься, – усмехнулся Балашов.

– Виталий Александрович, – позвала Варя. – Давайте его в палату. Он руками машет.

Балашов ободряюще коснулся плеча Добровольского и вернулся в операционную. Через несколько секунд они с Варей вывезли каталку с Клушиным в коридор, передав её постовой сестре и санитарке. Максим постоял несколько секунд, глядя куда-то перед собой, дождался в итоге, что Елена Владимировна прогнала его от раковины, и вышел следом.

В коридоре он услышал, как орёт Клушин, требуя промедол. Проходя мимо его палаты, хирург даже не повернул головы.

3

– Ты в реанимации работаешь, у вас своя кухня, а я тебе с позиции хирурга скажу. У нас – резать дольше, чем зашивать. Причём временами намного дольше. Я сейчас не беру в расчёт всякие аппараты для резекции, где щелкаешь термоножом с кассетой – и всё, сразу и отрезал, и зашил. Это хирургическое чтиво, на мой взгляд, хотя и на пользу больному идёт. Качественно сокращаем травматизм и время операций. У Золтана в книге красиво написано: «Операция есть последовательное и правильное разъединение и соединение тканей». А меня это от хирургии в какой-то момент едва не отвратило. Но я, как видишь, удержался. Можно сказать – заставил себя, как «дядя самых честных правил». Чисто технически, как я сейчас вижу с высоты своих лет, в хирургии ничего сложного нет. Наливай да пей.

Они с Балашовым сегодня дежурили вместе, что было необычайной редкостью – раз в три месяца, не чаще. Иногда у Добровольского складывалось впечатление, что Виталий чуть ли не специально берет у заведующего хирургией график дежурств, ищет в нём Максима и выбирает несовпадающие дни.

Балашов сидел за компьютером и методично изучал сайт AliExpress на предмет спортивной экипировки. Был он заядлым фанатом бадминтона и постоянно искал в Сети ракетки, воланчики, сумки, кроссовки, футболки и прочие спортивные мелочи, без которых жизнь его была серой и скучной. Разговор внезапно зашёл о том, что они могли бы делать, если бы в своё время не отдали мозги, здоровье и благосостояние на откуп профессии врача. Виталий внезапно увидел себя в спорте и пожалел, что не занимался им раньше, в юности – возможно, успехи на сегодняшний день были бы довольно серьёзными.

– Я сейчас, в сорок шесть лет, очень неплохо играю, – говорил немногим ранее Виталий. – На уровне края вообще красавец – дома грамоты и кубки складывать некуда. И ещё в волейбол успеваю немножко – но, правда, без особых успехов, так, на подстраховке, больше в запасе сижу. А представь, если бы я вместо реанимации по линии спорта двинул?

Он пощёлкал мышкой, разглядывая на экране что-то невидимое Добровольскому, потом добавил:

– Но поздно уже жалеть. Дело сделано. И хотя порой на дежурства как на каторгу иду, проклиная те дни, когда за заведующего остаюсь, – но в чём-то другом себя уже не вижу. Когда с ракеткой по площадке бегаю, в голове всё какие-то больные, зонды-капельницы, дозы нитратов, клинтроны эти ваши, будь они неладны. Максимально только в отпуске три последних дня разгружаюсь, а до этого работа снится. Вот бадминтон не снится, между прочим. И ни разу не снился. А кровати в зале – чуть ли не через день.

Потом он немного пожаловался на работу анестезиолога, непонимание большого начальства и сложность общения с администрацией. После чего Добровольского тоже понесло.

– Все трудности в медицине – в ментальной сфере, – пояснил он. – В голове, если уж упрощать ассоциации, – и он постучал шариковой ручкой себе в лоб, потом бросил её на стол. Она, прокатившись немного, упала на пол. Максим вздохнул и полез поднимать.

– «От многой мудрости много печали», – донеслось до Балашова из-под стола. – Чем больше знаешь – тем сложнее ставить диагноз. – Добровольский выбрался назад и попытался отряхнуть штаны от пыли, которой под столом было столько же, сколько в мешке пылесоса. Стоило признать, что дежурные санитарки мыли пол исключительно в пределах видимости.

– Так вот, – посмотрел в окно Максим, вспоминая нить разговора. – О диагнозе. Искусством в хирургии постепенно становится не операция, а умение от неё отказаться. Это как в соцсетях – чтобы тобой манипулировать, нужен огромный объём данных о тебе. Чем он больше – тем манипуляция точнее, но и тем больше времени уходит на подготовку.

– Отказаться? – приподнял брови Виталий. – Ты ж хирург. Любое сомнение в пользу операции – этот канон никто не отменял, да и вряд ли когда отменит.

– Могу поспорить. Чем больше диагностических возможностей – тем больше мы можем отсеять проблем, маскирующих основное заболевание.

– Но на это нужно время, – возразил Балашов. – А время – не самый полезный фактор для хирургических болячек.

– Тут и надо находить баланс. Баланс между длительностью и качеством диагностики – и темпами развития предполагаемой катастрофы. Например, я – из агрессивного оперирующего хирурга стал постепенно активно-выжидательным.

– Ты речь какую-то на мне репетируешь, что ли? – наклонил голову Балашов. – Звучит мощно – «агрессивный хирург».

– Раньше я рвался в операционную по любому поводу. Руку набивал, технику оттачивал. День, когда аппендицит не прооперировал, – считай, зря на работу ходил. А если доводилось что-то посущественнее сделать, непроходимость или грыжу ущемлённую – радости было столько, что впору от меня батарейки заряжать.

– Отец всё делать давал?

– Без отца не обошлось, конечно, – пожал плечами Максим. – Но без личной инициативы никак. Заставить человека в живот залезть – нельзя. Можно дать крючки подержать, тупфером попросить потыкать. У меня в больнице перед глазами пример был – Шепелев, нейрохирург, помнишь? Да ты должен знать, он лет десять назад выбрался-таки из района и краевым специалистом стал. Правда, недолго, пару лет всего порулил и на пенсию, но величиной был большой.

– Припоминаю что-то такое, – с сомнением в голосе кивнул Балашов, и Максим понял, что никого Виталий не помнит.

– Да ладно, не напрягайся. Просто Шепелев-младший так и остался в районе. Его отца спрашивали: «Почему вы не хотите сына выучить, чтобы ему потом отделение передать?» И действительно, династия могла выйти неплохая. Шепелев-отец хирург смелый, техник виртуозный, диагност блестящий. Но в операционной был, как Аркадий Райкин – тот не мог своих актёров научить, как играть, зато мог очень здорово сам вместо них всё сделать. В итоге, если не было у тебя безусловного дарования, то не удержишься в театре, переиграет тебя Райкин. Так всем и про Шепелева казалось – не умеет он учить, ему проще самому. А потом мне отец объяснил. Это не Шепелев плохо учил. Это сын не умел учиться. И даже не так, наверное, – перешагнуть не захотел ту черту, где надо уметь мосты сжигать и точки невозврата проходить. Спать хотел хорошо и спокойно, ответственностью душу и сердце не рвать.

– Поэтому ты сейчас здесь? – Балашов, слушая Максима, шарил на столе рядом в поисках пульта от кондиционера. Нашёл, щёлкнул. Тут же опустилась шторка белого «Самсунга», подул прохладный ветерок. – А Шепелев – там?

– Младший – да. И отделение отец не ему передал, а пришлому доктору из глубинки. Тоже смелому, отчаянному. Но ведь и мой отец – не мне передал. – Добровольский вдохнул. – А он хотел. Но сразу сказал: «Крылья подрезать не стану. Хочешь уехать – поддержи. Мне за тебя стыдно не будет».

Максим вдруг замолчал, вспомнив, что давно не звонил отцу. Пётр Леонидович, он же Добровольский-старший, был вплотную близок к своему семидесятилетнему юбилею, жил в маленьком дачном домике с двумя собаками, продолжая консультировать родную хирургию пару раз в неделю в неофициальном порядке. Ходил в своё отделение как на работу, смотрел снимки, щупал животы, иногда заглядывал в операционную.

– Отец со мной всегда разъяснительную работу проводил. Объяснял ход своих мыслей, уточнял, на чём диагноз строил. Ведь вся мыслительная работа – её родственникам пациента не понять. Стоят два хирурга у постели, руки за спиной, о чём-то переговариваются. А больному легче не становится. И начинается: «Почему вы ничего не делаете?» Для них стоять у

постели и просто разговаривать равнозначно убийству их родственника. А всё почему? Просто никто не ценит ту часть работы, что происходит в голове. Как говорил мой отец: «Потому что клизму видно, а мысли – нет». Но ведь обидно же, Виталий Александрович! Такие порой замечательные конструкции в голове выстраиваются! Ты же можешь понять, что создать из набора бестолковых симптомов и рваного анамнеза логическую цепочку, которая приведёт, например, к тромбозу мезентериальных сосудов, – это высочайшее искусство?

– Могу, – кивнул Балашов. – У вас тут кофе есть?

– Да, на кофемашине кнопочку нажми, – сказал Добровольский. – Есть в этом что-то от... – Максим задумчиво несколько раз щёлкнул пальцами, проводил взглядом идущего за кофе Балашова. – От аристократизма, наверное. Вспоминаю отца, когда он ещё в силе был. Всегда костюм, галстук, халат накрахмаленный. Туфли, начищенные до блеска, одеколон. Никогда его небритым не видел. Сам как-то хотел усы с бородой отрастить, так он сказал: «Увижу, как это хозяйство сквозь маску лезет, – лично сбрею!» И как рукой сняло – с тех пор об усах и не мечтаю. Представляешь, что пациенты чувствуют, когда такой доктор у постели стоит, вопросы задаёт, за запястье тихонечко держит, потом склеры посмотрит, попросит язык высунуть. Уже тот факт, что он к тебе подошёл, исцелять начинает.

Балашов тем временем соорудил себе кофе, бросил в чашку пару кусочков сахара и вернулся на диван.

– И куда же всё ушло? – шумно сделав глоток и от неожиданности этого смутившись, спросил Виталий. – У нас так только кафедралы ходят – да и то не все. Похоже, это примета времени была – аристократизм врачебный. Сейчас скорости не те, запросы у общества другие. Не на аристократа, а на технаря.

– Конечно, если я в автосервис приду, то больше доверия у меня будет к мастеру в промасленной робе, а не к инженеру при галстукке, – согласился Добровольский. – Это я сейчас про слово «технарь». Но совсем не обязательно хирургический костюм в крови пачкать, чтобы доверие пациента вызывать.

– Да не про кровь я. – Балашов отставил чашку на стол. – Я скорее про образ. Профессор из черно-белого советского кино давно уже сменился на молодого энергичного технократа из американских сериалов. Они не думают над клиникой заболевания – они рассуждают над результатами обследований. Между ними и пациентами – лаборатории, кабинеты МРТ и УЗИ, всякие приборчики, аппаратики, анализы. Профессор бы присел на кровать, пульс посчитал, узнал бы, как спалось. А им некогда – они пациента практически и не видят. А халаты сейчас, сам знаешь, никто уже не крахмалит. По крайней мере, молодёжи про это неизвестно.

Максим опустил взгляд на свой хирургический костюм, отметил светло-коричневое пятно на правой брючине и несколько капель где-то в районе живота.

– Это, судя по цвету, бетадин, – покачал он головой. – Или соевый соус. Как я не заметил? Вот ещё приметы технаря – нет времени постирать, нет времени нормально и спокойно поесть так, чтобы всё вокруг себя не заляпать. Уверен, у моего отца на такой случай в шкафу ещё несколько костюмов было – как хирургических, так и обыкновенных.

– Ну, – Балашов задумался на мгновение, – ты можешь халат сверху надеть.

– Точно, хирургический принцип «зашьём – не видно будет» в действии. Под халатом не видно, что костюм грязный, под маской – что небрит, в перчатках – что ногти неаккуратные, в колпаке – что голову не мыл трое суток. Всё у нас продумано. Внутри ты вроде аристократ, а если всё с тебя снять...

Виталий машинально взглянул на свои руки, изучая ногти, потом кивнул головой, соглашаясь с Максимом.

– Да какой к чёрту аристократ. – Он взял кофе со стола, сделал очередной большой глоток, прикрыл глаза, анализируя вкус. – Разве будет аристократ в лицах рассказывать, как больной у него после кетаминового наркоза с ума сошёл от галлюцинаций? Чуть ли не в лицах пред-

ставление устраивать. Не веришь? А было в моей жизни и такое. Не здесь, правда. Учитывая, что кетамин мы не пользуемся давно, можешь представить, сколько лет назад я этот спектакль смотрел. Там вообще анестезиолог был со странностями, если честно. Его жена реально доводила – зарабатывай, зарабатывай! Он в трёх местах работал – у нас в больнице, в военном госпитале дежурил и ещё на «скорой». Трое суток в смену, один день дома. Чтобы нормально спать, вмазывался на дежурствах тиопенталом. Мы сначала думали, на наркотики подсел – но он вовремя объяснил, а то мы его уже отстранить хотели. Так вот он всегда с наркозов приходил и чуть со смеху не падал. То у него пациенты цветы с одеяла собирают, то в самолёте летят, то на танке по болоту едут. Калипсол же так растормаживает – что угодно можешь увидеть. И нам поначалу тоже смешно было! А потом девочка молоденькая ему в любви стала на каталке признаваться и целоваться полезла. Он об этом как-то так рассказал мерзко, чуть ли не со слюнями. Я еле сдержался, чтоб в морду ему не дать. После этого случая, когда он из операционной приходил, мы себе дела неотложные находили в срочном порядке, чтобы его рассказы не слушать. А ты говоришь – аристократ.

Он быстрыми глотками допил кофе, со стуком поставил чашку на стол. Добровольский чувствовал, что воспоминания Балашову были неприятны.

Максим и сам понимал, что их разговор ушёл куда-то за закрытые двери, ближе к тёмной стороне медицины, туда, где редко бывают посторонние. Поэтому он подавил в себе желание поделиться чем-то похожим на рассказ Виталия из своей практики, хотя парочку случаев он был не против обсудить. Это ведь так же, как с анекдотами – когда кто-то рассказывает в компании анекдот, ты не стараешься просто насладиться смешной историей и посмеяться вместе со всеми. Ты судорожно ищешь в памяти что-то подобное, перебирая в памяти короткие и длинные анекдоты, похожие и не очень, сложные и простые, потому что надо подхватить волну, удивить чем-то новым. В итоге ты не слушаешь анекдот – ты ждёшь, когда все закончат смеяться, чтобы тут же вставить своё слово.

Они замолчали. Добровольский почувствовал, что немного физически устал от этого разговора. Было похоже, что Балашов, сам того не желая, поставил в их беседе жирную точку.

А ещё через пару минут Максиму привезли шальную императрицу.

4

Это было странное ощущение. Добровольский замечал его за собой, если в процессе хирургической работы случались казусы, требующие потом дополнительных телодвижений от медперсонала. Сейчас, когда каталку с Зиной надо было прокатить по луже крови, Максим думал не о том, что Зина, возможно, скоро умрёт, а о том, что санитарке придётся мыть пол не только в палате, но и по всему коридору, от чего ему было несколько неловко. Когда Юля, молодая сестричка из хирургии, толкнула каталку к двери, Добровольский отметил, как пара колёс нарисовала на кровавом пятне черные полосы – и они выехали в коридор.

Максим тащил каталку за собой. Юля, как могла, помогала. Колеса жалобно скрипели, каталка пыталась немного наклоняться в сторону, потому что её подъёмный механизм и подвеска были старше самой больницы. Пунктирный кровавый след тянулся за ними метров пятнадцать, становясь всё менее заметным.

Зина порывалась заглянуть вперёд, туда, где шёл Добровольский, чтобы понять, куда её везут, но шаткая поверхность и виляние колёс не давали этого сделать. Едва она поворачивала голову, как в ту же сторону начинало смещаться её тело размера «очень плюс сайз», каталка кренилась, и она в ужасе хваталась за край окровавленной ладонью.

Добровольский, как бурлак, тянул за собой Зину и понимал, что вся эта возня с кровотоком – в принципе была запрограммирована...

Он спустился в приёмное быстро, пройдя через пару отделений максимально коротким путём. В коридоре его ждал фельдшер «скорой», а в кресле – пациентка, увидев которую, Максим на секунду сбавил шаг.

Это было что-то среднее между Монсеррат Кабалье и гопницей из отдалённого района города. На Кабалье она была похожа комплекцией – оперная дива ей даже слегка проигрывала – и каким-то жутким ярко-зелёным платьем с блёстками. Максим зачем-то вспомнил слово «пайетки», хотя до этой минуты и не подозревал, что оно было в его словарном запасе. От гопницы у неё была погасшая сигарета в криво накрашенных фиолетовой помадой губах, грязные кроссовки без шнурков и взгляд, говорящий: «Есть таблетка? А если найду?» Подобный взгляд нельзя было просто так сыграть – это было записано у неё на подкорке.

Подойдя ближе, в пользу гопницы Максим записал ещё отсутствие одного зуба и дивный запах перегара. Похоже, Монсеррат Кабалье совсем недавно отмечала какой-то провальный концерт в российской глубинке. Остановившись возле пациентки, Добровольский взглянул на неё чуть пристальнее, потом спросил:

– Что случилось?

Та хотела что-то ответить, но вдруг поняла, что к её губам прилипла погасшая сигарета. Она усмехнулась и выплюнула бычок прямо на Максима, успевшего сделать шаг назад, и сигарета приземлилась в нескольких сантиметрах от его ног.

– Вот так, значит? – поднял брови Добровольский и вошёл в кабинет к медсестре приёмного отделения, чтобы поговорить с вменяемыми людьми. Внутри он застал очередную незнакомую медсестру за компьютером и какую-то бабушку, что трясущимися руками пыталась удерживать перед собой на столе листик и подписать его.

– Да вот здесь, где галочка, – раздражённо показала пальцем в бланк медсестра. – Давайте я вам ручку ткну туда, где надо расписаться.

Пока женщина выводила свою подпись, напомнившую Максиму энцефалограмму, сестра взяла со стола флакон с антисептиком и пшикнула на ту руку, которой прикасалась к бабушке. Увидев, что на неё смотрит хирург, она безо всяких «здравствуйте» пояснила:

– Подписывает согласие на госпитализацию в коридор. В терапии все палаты заняты.

Добровольский кивнул.

– А в коридоре кто? Есть документы? – спросил он. – И я, к сожалению, не знаю вашего имени, ещё не доводилось с вами дежурить.

– Люда меня зовут, – улынулась медсестра. – Второе дежурство всего, неудивительно.

– А я дежурный хирург, Добровольский Максим Петрович, – в ответ представился Максим. – У вас, наверное, и отчество имеется?

– Ивановна, – смущённо добавила Люда. – Да я как-то... Можно и...

– Людмила Ивановна, так что по даме в коридоре?

– Сейчас, – забарабанила пальцами Люда. – Куда же я положила... Вот!

Она протянула сопроводительный лист со «скорой», паспорт и полис Монсеррат Кабалье. Добровольский взял, прочитал диагноз «Острый панкреатит», рефлекторно поморщился, чётко понимая его происхождение. Потом открыл паспорт.

– Зинаида Дмитриевна Руднева, одна тысяча девятьсот... Какого года рождения? – удивился он несоответствию того, что прочитал, увиденному в коридоре. Зинаиде было сорок лет. Выглядела она на все пятьдесят, а фиолетовые губы накидывали ещё пяток сверху.

– По прописке всё правильно? – уточнил он маршрутизацию.

– Да, это чудо точно наше, – кивнула Люда. – Так, бабушка, – отвлеклась она на предыдущую пациентку. – Сейчас вас в отделение сопроводим, – говоря это, она поглядывала искоса на хирурга. – Вещи есть кому отнести?

Из коридора вошёл пожилой мужчина, помог бабушке встать.

– Я маму отведу, – сказал он медсестре. – Но если можно, ей бы на кресле...

– Тут близко всё, лифт прямо в фойе, – сказала было Люда, но внезапно встретилась глазами с Добровольским, который удивлённо смотрел на неё. – Хотя ладно, в кресле же проще. Маргарита Сергеевна! – крикнула она санитарке куда-то вглубь недр приёмного отделения. – Прикатите ещё кресло сюда, нам до терапии доехать!

А потом сказала сыну:

– Сейчас сделаем, – и посмотрела на Добровольского в ожидании одобрения, но тот уже был поглощён мыслями о Рудневой. Он выглянул в коридор, чтобы ещё раз оценить её габариты, потом посмотрел на кушетку, где собирался выполнить осмотр, и засомневался в том, что она сама переберётся туда, а он сможет ей в этом помочь.

– Глаза бояться... – шепнул Максим себе под нос. Санитарка тем временем прикатила кресло, усадила бабушку, на пальцах объяснила сыну, какие кнопки на лифте нажимать и куда потом двигаться. Добровольский дождался окончания инструктирования и сказал санитарке:

– Давайте даму из коридора поближе к кушетке перемещать. Пришло время совершить подвиг.

Зинаида Дмитриевна была не очень согласна с тем, что её куда-то увозят. Она что-то промычала, очень неразборчиво, но явно агрессивно, и попыталась махнуть рукой себе за голову, чтобы достать санитарку.

– Сиди уже! – рыкнула та в ответ совсем не женским прокуренным голосом. Кресло вступило в неравный бой с излишним весом Зинаиды, ехало плохо и совсем не по прямой, но всё-таки продвигалось к цели.

Возле кушетки Добровольский обогнал их и встал перед Рудневой, но на некоторой дистанции, памятуя о неадекватности пьяной пациентки.

– Надо попытаться встать и перебраться сюда, – он указал на расстеленную одноразовую простыню. – Я живот посмотрю, а потом ЭКГ сделаем и анализы возьмём.

Зинаида посмотрела на него затуманенным взглядом, вздохнула. На высоте вдоха поморщившись от боли, оперлась руками о подлокотники – и встала, довольно сильно пошатываясь. Добровольский рефлекторно подошёл ближе и ухватил её за локоть. У него сложилось впечат-

ление, что до падения остались считанные доли секунды. Зинаида тут же вцепилась в него другой рукой – цепко, больно, с каким-то шипком.

– Да что ж ты делаешь! – не сдержался Максим. – На кушетку давай!

Он властным движением, не отпуская локтя, направил пациентку туда, куда ему было надо. Она сделала несколько шагов, упёрлась в кушетку, отпустила Добровольского и схватилась за неё обеими руками.

Максим чувствовал, как наливается синяк на плече.

– Разворачивайся! – скомандовал он. – Разворачивайся и садись, потом лечь поможем.

– Вы поможете, ага, – неожиданно прокомментировала Зинаида. – Муж мой где?

– Тебе видней, – ответила санитарка. – Где оставила, там и лежит.

– Точно лежит? – Руднева повернула голову на голос. – Я уехала, он сидел.

– А потом прилёт.

Зина громко икнула, закашлялась и сплюнула прямо перед собой – туда, куда её собирались усадить. Санитарка посмотрела на Максима, а потом отвела взгляд в окно. Менять простыню она не собиралась.

Добровольский её отчасти понимал. Он тоже хотел поскорее принять по Рудневой хоть какое-то решение независимо от того, где она будет лежать – в слюнях, крови или дерьме.

– Ложитесь уже, – далеко не самым командным голосом попросил он Зинаиду.

– Щас, – она кивнула в ответ, да так сильно, что едва не упала на кушетку. – Не гони лошадей, я день рожденья отмечала, вот и накидалась.

Она с трудом распрямилась, развернулась на месте, как избушка на курьих ножках, – к кушетке задом, к хирургу передом, – и грузно опустилась в собственный плевок, особо не примериваясь и рассчитывая только на притяжение Земли.

Кушетка даже не скрипнула – скорее, хрустнула.

– А у меня, между прочим, юбилей, – обратилась она, как показалось Добровольскому, к кушетке. Погладила рукой простыню, подняла глаза на Максима. – Сорок лет, прикинь? Четыре дня назад. Вот тут болит, – внезапно сменила она тему, скривилась и показала куда-то в область чуть ниже необъятной груди. – И в спину...

– Вы четыре дня юбилей отмечаете? – уточнил Максим.

– Почему четыре? – удивилась Зинаида. – Кто тебе такое сказал?

Её мутный взгляд никак не мог сфокусироваться на его лице. Она закинула голову и оперлась руками за спиной, чтобы смотреть просто куда-то вверх.

– Вы же сами сказали – четыре дня назад юбилей был.

– И что? – хмыкнула Руднева. – Ты же новый год не прямо в двенадцать часов отмечать начинаешь? Надо ведь старый проводить, салатик оценить, водочку попробовать.

– В двенадцать, – сказал Добровольский, про себя подумав: «Кого я обманываю?»

– Да ладно! – Зинаида сумела перевести взгляд с потолка на хирурга. – А мы не такие, уж извини.

– Так сколько вы пьёте уже?

– Что ты пристал? – нахмурилась пациентка. – Неделю я пью. Или две. Какая разница?

Мой юбилей. Раз в жизни бывает.

– Живот когда заболел?

– Вчера, – задумалась Зина. – Или позавчера. Сегодня что, четверг?

– Суббота.

– Да ладно! – опять выпучила глаза Зинаида. Немного пошевелив губами, она что-то посчитала и ответила точнее. – Тогда дня три уже.

– Хуже становится, лучше или одинаково?

– Раз я здесь – как сам думаешь?

Добровольский скрипнул зубами. Он уже был готов прекратить с ней общаться и написать в истории болезни «Сбор анамнеза затруднён в связи с алкогольным опьянением».

– Давайте ложитесь, мне надо живот посмотреть.

– Да уж смотри, а то болит жуть как. – Зинаида вспомнила, что цель её приезда сюда не в том, чтобы рассказать про юбилей. – Щас... Щас...

Она посмотрела, куда ей надо укладываться, всем видом дала понять, что от неё требуют практически невозможного, после чего начала медленно заваливаться.

Добровольский провожал её взглядом, понимая, что если она решит упасть на пол, он вместе с санитаркой её не удержит. Поэтому оставалось положиться только на инстинкт самосохранения Монсеррат.

Несмотря на все его опасения – у Зинаиды получилось. С кряхтением и бормотанием она около минуты возилась, потом вдруг спросила:

– Разуться-то надо было?

Хирург не стал этого требовать – всё-таки простыня была одноразовая, как раз для таких случаев. Потом жестом предложил поднять кверху платье.

– Ишь ты, прям сразу? – медленно потянула она балахон с пайетками кверху, по сантиметру открывая полные целлюлитные ноги. Максим ожидал от неё каких-то вольностей, но этот пьяный флирт его изрядно разозлил.

– Нет, подождём, пока проспишься! – возмутился он. – Тебя с панкреатитом привезли, Зинаида, а без поджелудочной железы жить пока не научились!

Именно в этот момент она и запела:

– И там... Шальная... Императрица...

С каждым словом платье поднималось ещё сантиметров на десять. Голос у неё неожиданно оказался сильный, ровный. Наверное, с попаданием в ноты могли быть проблемы, но Добровольский в этом не особо разбирался. Первый раз у него на дежурстве кто-то подобным образом устраивал караоке.

– В объятьях юных кавалеров забывает обо всём!.. На, смотри, – она подтянула платье под грудь, полностью открыв колышущийся живот. – Как такому отказать? – и она подмигнула Добровольскому.

– Попрошу вести себя менее развязно, – скривившись от подобной фамильярности, сурово попросил Максим.

– Ничего не могу с собой поделаться. Когда так страстно бирюзовым взглядом смотрит офицер, – допела она ещё строчку. – Тазик несите, тошнит.

Максим продублировал просьбу о тазике для санитарки, а сам принялся осматривать живот. Болело у неё в основном выше пупка по центру и слева – при пальпации в этих местах она неприкрыто охала и бурчала себе под нос всякую нецензурщину. Добровольский вынул из кармана фонендоскоп, послушал перистальтику – она не понравилась. Точнее, не она, а почти полное отсутствие.

– Стул давно был? – спросил он Зинаиду.

– Чего?

– На горшок давно ходили? – уточнил Максим.

– А хрен его знает. Давно, наверное.

– Рвота была?

– Была, – прикрыла глаза в знак согласия Зина. – Уже раз десять, наверное. Сосед потому «скорую» и вызвал – думал, отравились мы чем-то.

– Мы?

– Муж тоже блевал, – сказала Руднева. – Слушайте, а дайте телефон, а? Мой дома остался. Позвонить ему надо, ему ж в воскресенье в смену. Он экскаваторщик!

– Как-нибудь сам проснётся, – ответил он на просьбу Зинаиды. – Или по городскому потом с поста наберёте. Людмила Ивановна! – позвал он медсестру. Та моментально появилась в дверях. – Пока она здесь лежит, возьмите анализы – кровь, биохимия с глюкозой и альфа-амилазой, а потом аппарат ЭКГ сюда подкатите, хочу абдоминальную форму инфаркта исключить.

– Инфаркта? – поползли вверх не самым удачным образом нарисованные брови у Зинаиды. – Да не, ну ты чо, доктор. Какой инфаркт?

– Думаете, никто раньше до инфаркта не допивался на своих юбилеях? – Добровольского все больше бесила развязность пациентки и бесконечное «тыкание». – Попали в больницу – будем все этапы диагностики проходить, какие положено.

Он ненадолго задумался, а потом добавил для Людмилы:

– И рентген брюшной полости на предмет непрохода и свободного газа. Хоть и не очень похоже.

Людмила принялась выписывать бланки на анализы; Добровольский черкнул направление на рентген, ещё раз посмотрел на Рудневу и сказал, ни к кому конкретно не обращаясь:

– В общем, вы её побыстрее в отделение переправляйте. Не затягивайте с терапевтом. Я её оперировать, конечно, не планирую, но лечить придётся интенсивно.

Когда он уходил из приёмного, Зинаиду рвало в тазик, подставленный санитаркой.

– Шальная императрица, – усмехнулся Максим в коридоре. На тот момент он ещё не представлял, какие сюрпризы она подбросит дежурному хирургу.

5

Мина рванула у Рудневой ближе к полуночи. Сначала она выдала какое-то странное падение давления – буквально на пять минут, медсестра расценила его как ортостатические явления. Добровольский пришёл, когда Зинаида уже была почти в адеквате – только крупные капли пота на лбу и небольшая бледность доселе ярко-розовых щёк слегка насторожили хирурга. Она производила впечатление человека в гипогликемическом состоянии, хотя в анализах, что пришли пару часов назад, ничего подобного не было. Альфа-амилаза – та зашкаливала однозначно, да ещё печёночные пробы вместе с билирубином подкинули Добровольскому поводов для дифференциальной диагностики. Он повнимательнее посмотрел на её склеры и решил, что одним панкреатитом тут обойтись не получится.

– Желтуха присутствует, – размышлял он. – Хотя и до цирроза к сорока годам могла допиться запросто.

Максим измерил ей давление, в очередной раз помял необъятный живот.

– На рентгене у вас все нормально, непроходимости или перфоративной язвы нет. В анализе крови немного гемоглобин снижен, но я понятия не имею, какой он у вас в принципе был, – покачал он головой, стоя над её кроватью. – Лечение вы получаете в том объёме, какой необходим.

– Нормально всё, – отозвалась Руднева. – Не дождётесь.

Но они дождались. Через примерно тридцать минут эпизод со слабостью и падением давления повторился. Добровольский по пути в хирургию позвонил Балашову и предложил присоединиться к осмотру. Едва они вошли в отделение, как из дальней палаты, где лежала Зинаида, выскочила Юля, увидела их и крикнула:

– Кровотечение!

Они ускорили шаг. В палате их ждала картина, достойная фильма ужасов – Руднева лежала на кровати вся в крови и с совершенно дикими от страха глазами. Платье, которое она категорически отказалась куда-либо отдать, было в алых пятнах с вишнёвыми сгустками. На полу возле кровати растекалась кровавая лужа.

– В реанимацию! – крикнул Балашов. – Каталку давайте сюда!

Юля уже загоняла в узкие двери каталку с педалью. Аккуратно, но быстро она подъехала к кровати и опустила уровень щита чуть ниже постели Рудневой. Зинаида, ничего не понимая, но догадываясь, что это для неё, с резвостью, которую никто не ожидал, передвинулась на каталку.

– Справитесь? – спросил Виталий и, не дожидаясь ответа, быстрым шагом двинул в реанимацию – готовить кровать и монитор.

– Куда ж мы денемся, – ответил Добровольский уже пустому дверному проёму.

Кровь на полу и на платье Зинаиды была алая. Никакой «кофейной гущи». Добровольский тянул за собой каталку, а сам думал, где взять зонд Блэкмора. Сразу же в его голове выстроилась логическая схема от повышенных печёночных проб до цирроза и кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода.

Отец всегда говорил:

– В нашем деле девяносто девять процентов диагнозов ставятся по аналогии. И это ни для кого не секрет. Как в гараже частенько бывает – у тебя в машине что-то застучало, а сосед по гаражу говорит: «Это стойка, точно тебе говорю, у меня так было!» Вот это самое «У меня так было» – одна из самых ключевых ошибок. Да, одна и та же болезнь у разных людей чаще всего похожа. Но какая будет сопутствующая патология, как она основную болячку извратит, изменит до неузнаваемости или наоборот, за неё спрячется так, что сразу и не найдёшь, – тут-

то и открывается поле для диагностики. В медицине нельзя быть заложником одной болезни, когда все симптомы, что есть у пациента, пытаются уложить в клинику какого-то одного заболевания. Помни – одно другому практически никогда не мешает.

Панкреатит заставил Добровольского сконцентрироваться на этом серьёзном заболевании и отвлек его внимание от других возможных проблем. И хотя рвота у Рудневой уже практически исчезла, но какой-то один, самый последний раз сыграл роковую роль.

Зинаида на каталке внезапно выгнулась дугой, встав чуть ли не на мостик, резко повернула голову и с очень неприятным булькающим звуком исторгла ещё порцию крови.

– Чего это?.. – испуганно, хрипло, с ужасной одышкой, спросила она. – Это чего со мной? – Она сплюнула себе на грудь, уже особо не переживая за платье, потом вытерла ладонью окровавленный рот и закричала: – Мне нельзя! У меня дети!

«Вспомнила про детей, – думал Максим, открывая перед собой двери тамбура в реанимацию. – Не поздно ли?»

Балашов ждал их у кровати в большом зале.

– Ей группу крови определяли? – спросил он у Максима. – Лить много придётся.

– Да, я видел анализ. Захватить историю времени не было, Юля принесёт.

Медсестра дотолкала каталку до кровати, вытерла пот со лба и побежала в отделение.

– Что думаешь? Варикоз? – спросил Балашов.

– Он самый.

– Зонд?

– Без вариантов.

Добровольский зачем-то оглянулся на кровать у себя за спиной. Молодой алкоголик с лапаростомой и разваливающейся поджелудочной железой. Иванов, кажется. Парень широко открытыми глазами смотрел на происходящее, пытаясь вытянуть шею и заглянуть куда-то за Максима, но силы покидали его слишком быстро. Добровольский знал, что лежит он до следующего кровотечения – и остановить его вряд ли уже получится. На каждом дежурстве все хирурги думали только о том, чтобы это случилось не в их смену.

Тем временем Зинаида, превратившись на несколько секунд в огромную окровавленную гусеницу, почти без посторонней помощи сумела перебраться на кровать.

– Где зонды у нас? – крикнул Балашов сестре, что готовила ему набор для катетеризации подключичной вены.

– В левом шкафу внизу. – Она не повернула головы, точно зная, где что лежит.

– Я возьму. – Добровольский быстро подошёл к шкафам. Тем временем санитарка приблизилась с ножницами к кровати и спросила:

– Режем?

– Что режем? – хрипло уточнила Руднева. – Зачем режем?

– Платье, – объяснила санитарка. – Оно уже вряд ли пригодится.

– Почему? – приподнялась на локтях Зинаида, но тут же упала обратно на подушку. – Я умру?

– Никто его уже не отстирает, – пару раз лязгнув ножницами, ответила санитарка и начала разрезать платье точно посередине снизу вверх. Зинаида завывала, как раненая волчица – то ли из жалости к платью, то ли от страха.

Добровольский нашёл пакет с зондом Блэкмора, отошёл с ним к столику, взяв с собой двадцатикубовый шприц. Он решил освежить в памяти, какой именно канал к какому баллону подходит. Ошибиться было довольно сложно – они были дифференцированы цветом. Жёлтый шёл к запирающему баллону, красный к основному. Максим разорвал упаковку, подсоединил шприц к жёлтому, потянул на себя, убедился, что спадается нижняя часть зонда – та, что потом, при раздувании в желудке, не даст ему выйти наверх через кардиальный отдел.

– Вазелиновое масло! – попросил он, обернувшись.

– Несу. – Маша, собрав всё, быстро открыла в шкафу среднюю дверцу, взяла флакончик, на ходу отдала его в руку хирургу. Тем временем платье уже было разрезано практически полностью; санитарка зацепила, не церемонясь, и бюстгальтер, успев заметить и сохранить какую-то золотую или похожую на неё цепочку на шее.

– Золото всё снимаем, будет храниться у старшей сестры, – монотонно, в такт движениям ножниц, скомандовала она. Зинаида потянулась было снять цепочку, но прицепленный на руку пульсоксиметр тут же съехал с пальца, монитор запищал, Маша довольно громко выругалась и остановила руку.

– Хрен с ним, потом!

Балашов надел перчатки и встал слева от Зинаиды. Добровольский с зондом – справа.

– Водички на глоток приготовьте, – попросил он у санитарки. – Как скажу пить – проглотить, – уточнил он для Рудневой, пока та в ужасе переводила глаза с него на Балашова и обратно. – Ты бы фартук надел, что ли, – сказал он Виталию. – Хотя я и сам забыл.

Он максимально вытянул воздух из баллонов зонда, перекрывая пальцами клапаны на просветах, когда снимал и снова надевал шприц. Казалось, что оболочка зонда слиплась навсегда и уже ничто не поможет ей принять прежнюю форму. Добровольский обильно полил зонд вазелиновым маслом, стараясь, чтобы на перчатки попало по минимуму – ему казалось, что если будет сильно скользить, то засунуть зонд он не сможет.

Зинаида посмотрела на Добровольского и открыла рот.

– В нос, – коротко уточнил он, поднося кончик зонда к левой ноздре. Почему именно к левой, он и сам не понимал – это было рефлекторное желание отодвинуть его хоть на сантиметр, но подальше от себя. – Значит, так. Мы должны сделать это с первого раза. Или ты умрёшь, – глядя в немигающие глаза Зинаиды, сказал Максим. – Тебе точно не понравится то, что я буду делать. Главное – руками не махать, не пытаться мне мешать и тем более – не выдёргивать. Дыши ровно, глубоко. Готова?

Зинаида не шелохнулась. Готовой к такому она точно не была. В этот момент вбежала Юля с историей болезни и громко сказала – всем сразу:

– Вторая отрицательная!

– Плазмы полно, – отреагировал Балашов. – Кровь закажем. Давай.

И Добровольский засунул зонд в нос Зинаиды.

Она дёрнулась и захрипела. В голове Максима всплыли все студенческие страхи и рассказы на темы «Я ставил зонд в желудок, а попал в трахею!» Поняв по отметкам на зонде, что он где-то у входа в пищевод, скомандовал:

– Глоток воды! Пей!

Санитарка налила немного физраствора из разрезанного пластикового флакона в задыхающийся рот с запёкшейся кровью на губах. Рудневой ничего не оставалось, как глотнуть – и Добровольский толкнул зонд дальше.

– Дыши! Ровно и глубоко, чтобы я слышал!

Из глаз Рудневой выкатились крупные слезы. Она шумно вдохнула – и Максим понял, что всё в порядке. Погрузив зонд в желудок, он быстро взял с подоконника шприц и несколько раз качнул в жёлтый просвет. Почувствовав сопротивление, ещё немного добавил, быстро закрыл шланг и легонько потянул зонд вверх.

– Главное – не сильно тянуть, – сказал он сам себе и поднял глаза на Балашова. Тот смотрел на происходящее, склонив голову и положив руку над левой ключицей – туда, куда собирался ставить катетер. Добровольский понял, что Виталий держал там пальцы не потому, что боялся потерять место пункции – нет, он был готов придержать Рудневу, если бы та перешла в наступление. – Через кардию при желании можно и яблоко целое пропихнуть, так что...

Он потянул ещё – и ощутил препятствие. Запирающий баллон упёрся в кардию. Теперь можно было надуть основной баллон, что он и сделал. Маша быстро присоединила к тре-

тьему просвету, что шёл напрямую из желудка, мешок для содержимого. Добровольский надувал баллон, а сам смотрел туда, в сброс, ожидая крови. Но было чисто.

– Сделали, – сказал он Зинаиде, пытаясь успокоить то ли её, то ли себя. – Фиксируйте.

Мария быстро обвязала зонд марлевой турундой, затянула на бантик у щеки.

– Теперь мы будем подключичный катетер ставить, – сказал Балашов. – Тебе тоже не понравится, – кивнул он Рудневой, – но все аргументы Максим Петрович уже привёл. Так что без вариантов.

И он ввёл иглу.

Примерно минут через пятнадцать они сидели в ординаторской реанимации и писали. Добровольский упаковывал свои мысли в дневник от момента вызова в отделение до установки зонда, Балашов заполнял бланк заказа на кровь для станции переливания.

– По зонду пока сухо, – закончив писать, отодвинул от себя историю Максим. – Заставила она меня понервничать.

– Она всех заставила понервничать, – не поднимая головы, прокомментировал Балашов. – И пока непонятно, чем кончится. Сейчас кровь капнем, а утром эндоскописты глянут, лигируют вены.

Добровольский покачал головой, встал, прошёлся до кулера, набрал прохладной воды, посмотрел в темноту за окном. Фонарь тускло светил, выхватывая лишь качающиеся ветки, что росли вплотную к столбу. В голове звучал голос Аллегровой, от которого он никак не мог избавиться.

– «Гуляй, шальная императрица», – еле слышно протянул он. – Господи, какой бред! – Он повернулся к Балашову. – Это же надо так бухать! Чтобы до панкреатита, до цирроза, чтобы кровью в потолок...

– Алкоголизм – дело такое, – задумчиво ответил Балашов, не отрывая взгляд от экрана компьютера. – Чтобы бухать, надо иметь хорошее здоровье.

– Это про другое поговорка. Это про нашу медицину. «Чтобы болеть, надо иметь хорошее здоровье».

– Какая разница? – Виталий положил пальцы на клавиатуру, задумался. – Болеть, бухать... Алкоголизм – болезнь. Что и требовалось доказать.

В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, вошла Мария с несколькими бланками в руках.

– Вот её кровь. И биохимия. И электролиты... – положила она листочки перед Балашовым. – И к вам полиция рвётся. Будет кто-нибудь с ними разговаривать?

– Гемоглобин восемьдесят четыре, – взглянул на анализы Балашов, словно и не было фразы про полицию. – Течёт не очень давно. – Он посмотрел на Максима. – Думаю, потекло уже здесь, у нас. В смысле, в хирургии.

– Я понял, – ответил Добровольский. – С полицией общаться будем?

Представители закона не стали дожидаться, когда врачи договорятся между собой. Они вошли в оставленную Машей открытой дверь – крепкий, высокий сержант и следом за ним невысокая девушка-лейтенант, напомнившая Добровольскому своими габаритами Юлю из хирургии. Парень прошёл вперёд, прямо на Максима, словно раздвигая воздух для офицера.

– Здравствуйте, – лейтенант поздоровалась первой. Сержант шагнул в сторону, открывая её для обозрения. Балашов поднял на секунду взгляд – и продолжил печатать эпикриз.

– Лейтенант Чумак, третий районный отдел. Я по поводу поступившей к вам Рудневой Зинаиды. – Она не знала, к кому обращаться; ей интуитивно казалось, что человек за компьютером главное того, что стоит со стаканчиком у кулера. – На «скорой» дали адрес вашей больницы. Мы были в отделении, там сказали, что её перевели в реанимацию.

– Проходите, – Добровольский показал на диван. – Да, она сейчас здесь, в реанимации. А чем обусловлен интерес к ней? Вроде банальная алкоголичка, никаких подводных камней...

Лейтенант прошла к дивану, стараясь не наступать на невысокий каблучок табельных туфель – как будто на цыпочках. Присела немного боком и натянула юбку максимально на колени, положив сверху папку с бумагами. Сержант прислонился к стене там же, где и стоял, сложив руки на груди, но уже через секунду подошёл к кулеру, взял со стола чью-то чашку, набрал полную и залпом выпил.

Все подождали, пока сержант утолит жажду и вернётся на место, потом Чумак спросила:

– То есть – она у вас?

– Да, – ответил Балашов, выглянув из-за монитора.

– И она живая?

– Обижаете.

– А говорить она может или?..

– Наркоз я ей не давал, – немного откатился в кресле от стола Балашов. – И наркотиков никаких не использовал. У неё зонд стоит, но не во рту. А у вас какая-то крайняя необходимость в общении с ней?

Чумак посмотрела на сержанта, словно этот молчаливый Рэмбо у стены должен был придать ей сил и уверенности, потом погладила папку у себя на коленях и ответила:

– В общем-то, случай довольно простой. Уже раскрыли всё.

– Раскрыли? – удивился Балашов.

– По горячим следам, как любят журналисты говорить, – кивнула Чумак.

– Можете рассказать или тайна следствия и всё такое? – спросил Добровольский.

– Там бытовое, на почве пьяной ссоры и неразделённой, так сказать, любви, – ответила лейтенант, понижая громкость к концу фразы, и Максим почувствовал, как от последнего слова Чумак готова была покраснеть.

– Бытовое, простите, что? – уточнил он, хотя вариант ему в голову приходил всего один.

– Убийство, конечно же. Сосед там... Признался.

Добровольский помнил, что сосед – если это был тот же самый сосед – вызвал «скорую» для Зинаиды.

– А убили-то кого? – не выдержал Максим этой подаваемой маленькими дозами детективной истории и решил ускорить процесс.

– Как кого? Руднева Сергея Степановича, – посмотрела снизу вверх на Добровольского лейтенант. – Мужа её.

– Экскаваторщика? – уточнил Максим. – Которому завтра на смену?

В её глазах появилось любопытство.

– Она что-то рассказывала вам?

– Кроме того, что отмечала своё сорокалетие в течение недели и что дома муж, которому нельзя проспать работу, – можно сказать, что ничего, – развёл руками Добровольский. – Так он умер, что ли?

– Да, – кивнула Чумак. – Ему вместо нормальной водки метиловый спирт подсунули.

– Кто? Сосед?

– Сосед.

– Зачем?

– Зинаиду любит. Очень, – коротко ответила Чумак. – Хотел устранить главного конкурента.

– Монтекки и Капулетти, – вздохнул Добровольский. – А если бы его Джульетта сама хватанула дозу?

Чумак пожала плечами:

– Вы у неё никакого отравления не диагностировали?

– Вроде нет, – пожал плечами Балашов. – Она, если бы метанола выпила, сейчас бы нас уже не видела, я думаю. Там же летальная доза примерно стакан, если он разведён до крепости водки. А они не один день пили.

Он помолчал немного, а потом внезапно спросил:

– То есть вы хотите ей сказать, что у неё муж умер? Ни раньше, ни позже – именно сейчас?

– Единственное, что узнать осталось, – ответила Чумак, – это в курсе она была или нет. Чтобы решить, был ли сговор. А сосед уже явку с повинной написал.

Добровольский попытался оценить весь масштаб этой комбинации, и у него плохо получилось. Какой-то сосед, будучи влюблён в эту шальную императрицу, на четвёртый день пьянки подсунил её мужу метанол, хотя была вероятность, что и сама Зинаида в праздничной неразберихе возьмёт не ту бутылку. И у самого соседа были неплохие шансы прилечь рядом с мужем – судя по всему, дым коромыслом стоял довольно долго, а решение, хоть и было заготовлено заранее, исполнялось человеком пьяным и слабо понимающим, что вообще происходит.

– Он решил, что Зинаида тоже из той бутылки отхлебнула – потому сразу «скорую» и вызвал, – продолжила лейтенант. – А когда бригада приехала, то изо всех сил Рудневу к ним пристраивал, а про мужа ни слова не сказал. Справедливости ради, про мужа Зинаиды тогда уже можно было и не вспоминать. Наш эксперт когда приехал, сразу сказал – часа два мёртв, не меньше.

– А полиция-то откуда узнала? – удивлённо спросил Добровольский. – «Скорая» уехала, я телефонограмму давать не собирался – повода не было. Это не ребёнок, не ножевое или огнестрел.

– Сосед постарался. – Чумак встала с дивана. – Решил, что убил свою Зину, и теперь ему на свободе жить смысла нет. Позвонил в дежурную часть, вызвал, так сказать, огонь на себя. Всегда бы так, – усмехнулась она. – Вы проводите меня к Рудневой? – спросила она у Балашова, правильно поняв, что он здесь хозяин.

Виталий задумался, постукивая пальцами по столу, потом встал и со словами «Мне надо три минуты» вышел из ординаторской. Добровольский зачем-то посмотрел на часы, словно решил засечь эти три минуты. Сержант у стены сучал, глядя в телефон. Чумак посмотрела на Максима и спросила:

– А он куда пошёл?

Добровольский пожал плечами. Ему самому было любопытно.

Когда Балашов через обозначенные им три минуты заглянул в дверь и пригласил полицейских пройти, Чумак чуть ли не побежала за ним. Виталий в коридоре протянул ей одноразовый халат, маску и прозрачную шапочку. Хотел помочь ей всё это надеть, но она отстранилась, быстро облачилась в предложенную униформу, отчего стала похожа на героиню бесконечного сериала «След».

Когда все вошли в зал, сразу стало понятно, зачем уходил Балашов. Руднева оказалась привязана за руки к боковинам кровати. Запястья были обёрнуты кусками старой простыни, поверх них затянуты пояса от тёплых халатов. С подушки на приближающуюся представительницу власти смотрела совершенно испуганная и измученная юбилярша. Она потихоньку начала трезветь и осознавать происходящее.

Чумак, подойдя поближе, остановилась. Добровольский понял, что она смотрит на мешок сброса по зонду, куда всё-таки набежало около ста пятидесяти миллилитров крови. Монитор несколько раз пикнул на полочке над головой Зинаиды – Балашов протянул руку, нажал что-то; звуки прекратились. Чумак вопросительно посмотрела на анестезиолога, но Виталий больше никак не реагировал на происходящее.

– Руднева Зинаида Ивановна? – спросила тогда лейтенант у пациентки.

Зина кивнула, насколько позволяли подушка и зонд.

– Руднев Сергей Степанович кем вам приходится?

– Мужем, – ответила Зина, постоянно поглядывая то на врачей, то на Чумак, то на стоящего вдалеке у двери сержанта.

– А Крутиков Николай Викторович?

– Что – Крутиков? – шепнула Зина.

– Знаете такого? – уточнила Чумак.

– Сосед наш по подъезду. – Руднева зачем-то посмотрела на свои руки и поворачивала ими, словно проверяя, действительно ли она привязана. – Этажом выше живёт, в пятьдесят четвертой. А что с ним?

– С ним всё замечательно. – Чумак прижала к груди папку с документами. – Он в добром здравии и находится сейчас в отделении полиции, где даёт признательные показания. А признаётся он в том, Зинаида Ивановна, что из-за большой любви к вам лишил жизни вашего мужа Руднева Сергея Степановича путём отравления его метиловым спиртом при совместном распитии алкогольных напитков.

Зина смотрела снизу вверх немигающим взглядом несколько секунд, потом, немного пошевелив губами, словно разминая их, она спросила:

– Чего? – И ещё через секунду: – Кого лишил? Серёжу?

Добровольский по тому, как расширились глаза у Рудневой, понял, что сейчас будет истерика. И она уже была готова закричать – но громкий звук падения металлического предмета заставил всех вздрогнуть и оглянуться.

Сержант решил присесть на стульчик у входа, но не рассчитал и, похоже, задел кобурой лоток с использованными шприцами и ампулами, отчего тот упал, а ампулы раскатились по полу; сержант вскочил, не успев ещё толком сесть, и кинулся подбирать шприцы.

– Руками не трогаем! – крикнул Балашов, пытаясь остановить виновника происшествия. Сержант замер на корточках, держа в руках использованную «десятку» и какую-то ампулу. – Пациентка не обследована!

– Серёжа! – внезапно закричала Руднева, хрипло и глухо. – Как же так?!

В этот момент все в реанимации поняли, что Балашов не зря дал команду привязать пациентку. Она выла, изгибалась на кровати, словно от ударов током, пинала ногами спинку, мотала головой. Маша поставила на стол лоток с собранным мусором, подошла сбоку к изголовью и проверила прочность крепления зонда. Добровольский увидел, как по сбросу тихонечко вытекла струйка крови, следом вторая – и всё прекратилось.

– Скажите, – возобновила допрос Чумак, но поняла, что Зинаида её не слышит, и повысила голос. – Скажите, вы были в курсе того, что планировал Крутиков? Руднева, отвечайте, и я уйду.

– Серёжа! – снова закричала Зина. – Я же не думала, я же... Серёжа... – и она стала царапать ногтями простыню. – Сука он, этот Крутиков, обещал с Серёжей поговорить, но чтоб так?.. Тварь конченная, убью, убью!..

– То есть связь с Крутиковым вы не отрицаете? – уточнила Чумак. – Он собирался выяснить с вашим мужем отношения?

– Да, – прекратив извиваться, ответила Зинаида. Сил на истерику у неё в здоровом состоянии явно бывало и побольше – сейчас же, с низким гемоглобином и после длительного запоя хватило её только на пару минут. Она тяжело и часто дышала, монитор показывал тахикардию, высокое давление и небольшое падение сатурации.

– Мне подъем давления сейчас вообще не нужен, – сказал Балашов так, чтобы его услышали все. – У меня цели совсем другие. Заканчивайте, даже если не все ответы получили. Маша, плазма разморозилась, ставь.

– Последний вопрос, – тон Чумак был абсолютно просящий, она чувствовала, что при всех её правах и «корочках» она здесь не хозяйка. – Минута, – попросила она у Виталия.

Балашов кивнул.

– Вы можете вспомнить, не предупреждал ли вас Крутиков, из каких бутылок можно пить, а из каких нельзя? Из тех, что у вас в квартире были вчера или сегодня.

Зинаида отдышалась, прикрыла глаза и ответила:

– Вчера... Принёс. Две бутылки «Столичной». Говорит, её легко заметить, этикетка красная. Мы-то всё «Пять озёр» пили. А он и говорит – «Столичную» не пей. И если не видела, из какой бутылки налито, – тоже не пей.

– Рисковый парень, – шепнул Добровольский Виталию. – В пьяном угаре сам мог перепутать.

– И никаких подозрений и вопросов у вас не возникло? – уточнила Чумак. – Вы не стали спрашивать, почему?

Зина покачала головой и, не открывая глаз, отвернулась от лейтенанта.

– Запишу вас в понятия, – оглянулась на врачей Чумак. – Не против? Вы же всё слышали?

Добровольский кивнул. Маша к тому времени сбегала в хранилище, взяла из водяной бани пару пакетов плазмы и пристраивала один из них на стойку. Балашов кинул взгляд на монитор, недовольно хмыкнул и что-то шепнул Марии.

– Эй, – вдруг сказал со своей кровати Иванов, до этого внимательно слушавший импровизированный допрос. Все синхронно посмотрели на пациента. Тот одними глазами показал на повязку на животе, и Добровольский отметил, что она очень сильно пропиталась кровью. Спустя секунду он понял, что темно-красная струйка вытекает из-под неё на кровать и пол.

– Фартук мне и нарукавники, быстро! – крикнул он Маше. – Надо срочно перетампонировать!

Глаза у Иванова стали медленно закрываться, словно он просто засыпал. Добровольский схватил с подоконника приготовленный на этот случай пакет с тампонами и гемостатическими губками, вскрыл его, после чего откинул промокшее одеяло и снял повязку.

От края лапаротомы на бок выполз гигантский багровый сгусток крови, напоминающий разбухшую амёбу. Максим отодвинул его рукой и понял, что справиться с проблемой не сможет – тампоны, торчащие из живота, ничего уже не сдерживали, они были мокрыми настолько, что со всех их концов бежали кровавые ручейки.

Добровольский вздохнул и, опасаясь артериального выброса, осторожно вытащил набухшие кровью салфетки. Они были продеты в некое подобие кольца из разрезанной перчатки, а потому вышли легко.

Рана очень быстро заполнилась кровью до самого верха. Не то чтобы мгновенно, нет – кровотечение было с большой степенью вероятности чисто венозным. Но вена эта была если не нижняя полая, то по диаметру тоже приличная.

Вспомнив наказы заведующего хирургией, он приложил к чистому тампону гемостатическую губку и сунул эту конструкцию вместе со своей рукой в живот. Лапаротомия для кулака оказалась маловата, Иванов дёрнулся от боли – и это помогло Добровольскому. Правда, именно в эту секунду он понял, что из-за всей неотложности ситуации он начал работать с необезболенным пациентом, но тут же увидел Балашова, который вводил Иванову пропофол.

Прижав в животе кулак ко дну раны, он на пару секунд зафиксировался, глядя в глаза Балашову.

– На него есть две дозы крови, – сказал анестезиолог. – Но я их хотел Рудневой капнуть, у них одинаковая оказалась.

– Машина за кровью пошла?

– Да.

– Сколько заказал?

– Две, как обычно. До утра бы хватило, а там анализы и...

– Звони, проси ещё четыре дозы.

– У Иванова уже дважды полная замена, – это было не возражение со стороны Виталия, а просто констатация факта. Иванов кровил давно и помногу; объем перелитой ему крови уже в два раза превышал его собственный. Почему он до сих пор не умер от осложнений, связанных с массивными гемотрансфузиями, было для всех в реанимации загадкой.

– Маша, «вторую отрицательную» на баню ставь! – сказал Добровольский себе за спину, уверенный в том, что его услышат. – Две!

Максим тем временем смотрел на лапаростому и пытался понять, прибывает уровень в ране или нет. Надо было определяться – держать дальше руку в ране или поставить второй тампон на правую сторону живота.

Монитор над головой начал издавать короткие неприятные звуки, освещая стены оранжевыми бликами. Балашов поднял голову, вздохнул.

– Ты делай что надо, – сказал он Добровольскому. – Но, я думаю, это уже больше для прокурора.

Максим медленно расслабил внутри живота пальцы, вынул руку, сделал ещё одну пробку из жёлтого прямоугольника губки и стерильного тампона, поднёс руку к ране и понял, что уровень крови не поднимается. Да и вообще – какого-либо движения там, в глубине, не наблюдается. Он поднял глаза на монитор.

– Давление не определяется, – грустно сказал Балашов. Потом он оглянулся, убедился, что Чумак и сержант вышли, посмотрел на часы. – Время смерти ноль сорок.

Максим положил на кровать ненужный тампон и отошёл на шаг от кровати. Нужно было спокойно подышать и расслабить мускулатуру.

– Давно у меня никто не уходил прямо на руках, – сказал он Балашову. – Деды всякие на дежурствах умирали – я только на констатацию приходил. В реанимации нашей погибали от сепсиса или полиорганки – закономерно. Когда видишь восемьдесят или больше процентов ожогов, какие могут быть сожаления на тему «Всё ли я сделал»? Но вот так...

Сами хирурги давно уже списали Иванова со счетов – панкреонекроз практически полностью уничтожил поджелудочную железу и начал разрушать всё вокруг. Остановить кровотечение они пытались несколько раз, что-то сшивали в глубине раны, но болезнь было не обмануть. Парень просто доживал свои дни на кровати в реанимации, глядя в окно на теряющий листву осенний вяз. Последнее, что он увидел в жизни – как лейтенант полиции допрашивала женщину, с молчаливого согласия которой был убит её муж, а потом из живота плюхнуло два литра крови, и какой-то мужик в маске, фартуке и перчатках сунул ему в живот руку по локоть.

– Он умер? – услышал Добровольский голос Рудневой. В этот момент он понял, что никто не успел поставить между ними ширму и Зинаида всё видела.

Максим кивнул, стянул перчатки и бросил их на пол. Ему было сейчас всё равно, что о нём подумают сестры и санитарки.

– А я? – внезапно спросила она.

– Что – ты? Ты живая вроде ещё.

– Я не умру?

– Хрен тебя знает. Кровь сейчас капнут, две порции. Потом для него, – он показал за спину, – привезут ещё две. А ему уже и не надо. Так что ещё пол-литра будет на всякий случай. Ты точно из тех бутылок не пила?

Руднева замотала головой.

– Тогда, может, и обойдётся всё, – высказал мнение Максим, зачем-то посмотрел на то, как льётся плазма, проверил сброс. – Хотя для тебя... уже не обойдётся.

Он отвернулся от Рудневой, посмотрел на Иванова, лежащего в луже крови с дырой в животе, и вдруг понял, что именно так, наверное, выглядели герои фильмов про Чужих. Только имя этого монстра было «панкреонекроз».

– Вы сверху налепите что-нибудь, – попросил Максим Машу. – Чтобы из него не выливалось.

В ординаторской он следом за Балашовым подписал показания Рудневой как понятой. Чумак аккуратно сложила всё в папочку и спросила:

– Как тот парень у окна?

– Умер, – сказал Добровольский.

– Бывает, – вздохнула Чумак.

– Да, – согласился Максим.

– До свидания. – Она встала из-за стола, посмотрела на так и не сказавшего ни единого слова за всё время сержанта и добавила, указывая ему на дверь: – Ты остаёшься. Тут теперь охрана должна быть, – обернулась она к Балашову и Максиму. – Я понимаю, что Руднева не встанет и не уйдёт, но так положено. Пост, охрана. Никаких наручников и браслетов, только приглядывать. Смена к вечеру придёт. Здесь буфет есть?

– На первом этаже. Стул ему дадут, чтобы в предбанничке находиться, – пожал плечами Балашов. – Где туалет, покажем. Чай нальём. Пусть сидит, раз такие дела, но сами понимаете, у нас тут не Диснейленд, всякое бывает.

Когда они вышли, Добровольский опустился на диван и закрыл глаза.

– Тридцать один год Иванову, – услышал он задумчивый голос Балашова. – Инженер теплосетей, между прочим. Полезный для общества человек. Был.

– А Руднева? – спросил Добровольский, чувствуя, что засыпает.

– Кассир, – пошуршав историями, ответил Виталий. – Помнишь, у Романа Карцева было: «Вы не кассир, вы убийца»? Вот точно про неё.

– Если докажут предварительный сговор – второго такого кровотечения в тюрьме ей не пережить. – Максим находился уже где-то между сном и реальностью, но ещё был в состоянии строить длинные фразы. – Так что все наши усилия сегодня...

Ещё через минуту он шумно засопел и немного сполз по спинке дивана. Балашов посмотрел на него и продолжил писать протокол реанимационных мероприятий, которых не было. Рядом на столе тихонько пикнул телефон Добровольского, одновременно с этим загорелся экран, и всплыло уведомление из Телеграма.

– «Макс, как у тебя здесь приставка к телевизору вклю...» – шевеля губами, прочитал Балашов обрезанное сообщение. Подписан контакт был двумя большими буквами «Ж. М.». Виталий перевёл взгляд на спящего Максима, представил женщину в его ординаторской – на диване, с пультом в руках. Рисовалась она ему в довольно коротком белом халатике и с ногами на диване.

Добровольский открыл глаза, потому что исчез тот звук, под который он засыпал, – звука стука клавиш. Балашов понял, что немного подвис, глядя в чужой телефон, но экран к тому времени уже потух.

– Чуть не заснул следом за тобой, – сказал Балашов, потому что надо было что-то сказать. – Ты дневничок напиши, а я уже следом по хронологии воткнусь.

Максим пересел с дивана за стол, взял чистый лист бумаги и довольно подробно описал все события – от начала кровотечения до реанимационных мероприятий.

– Время не перепутал?

– Нет, – Добровольский показал Виталию историю и ткнул пальцем в лист. – Как договорено. Листочек вклеишь?

После чего он поднял телефон, включил и прочитал уведомление. Балашов продолжал печатать, словно ничего и не происходило.

– Пойду, наверное, – положив телефон в карман, сказал Максим. – По Рудневой всё понятно, а Иванову уже не поможешь. Если у Зинаиды набегит по сбросу больше трёхсот миллилитров за час – позвони мне, я приду, зонд пошевелю, подтяну ещё чуток.

Виталий кивнул, не отрываясь от экрана. Добровольский вздохнул и вышел в коридор, на ходу набирая сообщение: «Сейчас приду, сам всё покажу». Когда он миновал двери реанимации и холл перед своим отделением, пришёл ответ: «Если ты уже идёшь, то тогда приставку не надо». Потом два смайлика и сердечко.

Добровольский улыбнулся и прибавил шаг.

6

– Получается, она мужа убила?

Максим вздохнул. Как у неё получалось делать такие выводы – было для него загадкой.

Ровный тусклый свет от экрана телевизора освещал её лишь с одной стороны, выхватывая половину лица и коленку, выглядывающую из-под одеяла.

– Не сама же.

– Так не всегда и надо, чтобы сама. Достаточно вот так. В нужный момент отвернуться или глаза закрыть.

– Все мы хоть раз в жизни от кого-то отвернулись, – мрачно сказал Добровольский. – Парень этот, Иванов – наверняка ведь кто-то от него отвернулся. Может, мама. Может, девушка. Он пить начал – и вот итог. Просто кого-то убивают долго, а кого-то быстро.

– А я? – Глаза блеснули. – Я не отвернулась?

– Похоже, что нет. И, наверное, хорошо, что ты думаешь об этом. Примеряешь на себя. Пробираешь, так сказать.

– Отворачиваться?

– Не так явно, – не согласился Добровольский. – Ты не отворачиваешься. Ты слегка прикрываешь глаза. А иногда даже зажмуриваешься. Ненадолго.

– И что это значит?

– Что всё не по-настоящему, наверное. – Он пожал плечами. – И не навсегда.

– А хочется по-настоящему, – вздохнула она. – Счастья хочется. Обыкновенного человеческого счастья. Женского. Чтобы любил, чтобы как за каменной стеной и прочие бабские аргументы типа «на руках носить».

– «Женское счастье – муж в командировке», – как сумел, тихо пропел Добровольский.

Собеседница не оценила шутку. Она закинула руки за голову, слегка обнажив грудь в тех пределах, что обычно позволяет сделать одеяло в кино, и стала разглядывать потолок. Добровольский не очень понял, обиделась ли она или просто ушла в свои мысли. Максим чувствовал, что готов уже лечь рядом, но где-то внутри сидело ожидание звонка от Балашова, и оно не давало приступить к решительным действиям.

Что ему всегда не нравилось на дежурствах – вот это бесконечное ожидание звонка. Смотря телевизор, читая книгу, записывая дневники в истории болезни, он никогда не забывал, что перед ним на столе лежит телефон, экран которого в любую секунду может засветиться звонком от контакта «Приёмное отделение» или от медсестёр на этажах.

В итоге для его нервной системы это превратилось в невозможность заснуть на дежурстве днём, несмотря на негласное правило, которое Добровольский для себя называл «правилом Черчилля». Британский лидер любил говорить, что дожил до своего возраста, потому что умел всегда и везде отдыхать. «Если можно было стоять или сидеть – я сидел, если можно было сидеть или лежать – я лежал». Максим пытался следовать данному принципу, но стоило прилечь среди дня, радуясь, что появилась свободная минута, как на его голову тут же обрушивался шквал мыслей о невыполненных делах, потом подключалась тахикардия, он начинал вертеться, недовольно сопеть и поглядывать на часы каждые две минуты, надеясь увидеть на них, что прошло хотя бы полчаса, но нет – именно две минуты.

Итог был закономерен. Со взъерошенными волосами он садился на диване, даже не стараясь поправить сбившуюся рубашку хиркостюма, около минуты зло смотрел в стену, брал пульт от телевизора, включал КВН ТВ и без единой улыбки смотрел его минут десять. Потом вставал, делал кофе, в очередной раз просматривал истории пациентов, находящихся под наблюдением.

И когда оживал телефон, он уже был к этому морально готов.

Сегодня ночью Балашов его щадил. Судя по тому, что звонка не было уже почти полтора часа с тех пор, как они расстались в ординаторской, кровило у Рудневой в допустимых пределах.

«Или вообще уже не кровит», – думал Добровольский. Он решил переосмыслить для себя всё, что случилось сегодня на дежурстве, чтобы уложить знания и навыки на нужные полочки.

Похвалить себя за битву в реанимации стоило в обязательном порядке, но Максим пока что не мог понять, за что именно – за то, что ставил сегодня зонд Блэкмора впервые в своей жизни, или за то, что сумел никому об этом не проговориться.

Ему удалось выглядеть во время процедуры максимально уверенным. Такое поведение можно было смело записывать в актив. Помогло то, что пару раз в жизни он это видел; память о том, куда вставлять и каков принцип работы зонда Блэкмора, не подвела.

Пожалуй, впервые в жизни максимально полно сработал принцип, о котором он твердил всегда всем своим коллегам:

«Подумай о себе – и больному сразу станет легче».

Когда он понял, что у Рудневой кровотечение, его сознание ещё пару минут боролось с принятием этого факта, хотя алгоритм действий запустился сам собой. И лишь затем в голове запульсировала лампочка с надписью «зонд Блэкмора».

Так уж вышло, что при всей хирургической практике ставить его ему ни разу в жизни не пришлось. Как-то не попадались пациенты с такими катастрофами на дежурствах. Аналогичным образом тысячи врачей понятия не имеют, например, об экстренных трахеотомиях – да, все они об этом читали, некоторые когда-то и где-то это видели, и поэтому не дай, конечно, бог столкнуться с этой ситуацией на улице, в транспорте или на смене.

Ему, конечно, очень хотелось сказать об отсутствии опыта Балашову, а потом переложить ответственность на заведующего хирургией, позвонив ему среди ночи, но в какой-то момент ему просто стало стыдно. Стыдно за отсутствие опыта и за то, что хотел смалодушничать. Правда, сейчас, сидя в ординаторской и любуясь из кресла красивым телом дремлющей женщины, он вдруг понял, что на чашах весов лежали довольно серьёзные вещи. На одной была его первая попытка выполнить ответственную манипуляцию, а на другой жизнь и возможная гибель Зинаиды Рудневой.

Но сработал тот самый принцип «Подумай немного о себе...». Добровольский уже давно понял, что большинство врачей реализовывали его по-своему. «Подумать о себе» означало «дать себе отдых», создать комфортные условия, упростить задачу. Даже просто выпить чашечку кофе. В итоге такие себялюбивые меры помогали лучше сосредоточиться, принять верное решение – и больному становилось действительно легче.

Добровольский, конечно, умел переключаться на отдых и кофе, но в случаях, подобных катастрофе с Рудневой, этот закон в голове Максима работал несколько по-другому: «Подумай, что будет с тобой потом, если ты этого не сделаешь сейчас». А «потом» обычно маячили осложнения, смерть, Следственный комитет, суд и тюрьма. В такой ситуации любая манипуляция выполнялась просто на «ура» – и больному становилось легче. Или подключали более опытных хирургов.

Так случилось и на этот раз. Гибель Зинаиды была отнюдь не призрачной. Лужа в палате и кровь в мешке для сброса красноречиво свидетельствовали о том, что до больших проблем оставалось не больше часа. То, что он в итоге впервые в своей жизни поставил этот чёртов зонд, было одновременно и его заслугой, и его реализованным страхом.

Он тихонько постучал пальцем по стопке серых папок с историями болезни, что лежали рядом с ним на столе. Точно в середине верхней папки скотчем была прилеплена бумажная табличка с его фамилией – «Добровольский М. П.» Максим разгладил её пальцем, увидел, что

скотч уже пытается закручиваться на углах, и решил его переклеить. Почему-то такая мелкая работа занимала его сейчас гораздо больше, чем лежащая на диване женщина.

Он пошарил по ящикам столов, до которых смог дотянуться, не вставая с кресла, – скотч нашёлся в столе заведующего. Добровольский подцепил оторванный угол на папке ногтем, потянул – и увидел, как под его табличкой оказалась ещё одна, от предыдущего владельца.

– «Платонов Ве Эс», – тихо прочитал он. – Надо же, я и не знал, что они мою этикетку поверх старой прилепили, – удивился Максим, имея в виду сестёр отделения.

– Что ты нашёл?

– Наклейку от того доктора, что здесь до меня был. Уже скоро год, а я понятия не имел, что эту штуку не убрали.

Он отклеил старую табличку и положил перед собой на стол.

– Интересная тут с ним история приключилась. То ли теракт, то ли ещё по какой-то причине взрыв. Машина «скорой» на воздух взлетела, мент какой-то погиб, а одна из местных кардиологов была тяжело ранена и руки лишилась¹.

– Припоминаю что-то такое. В новостях точно было, и в Инстаграме какие-то фотографии выкладывали.

– Так вот этот доктор, Платонов его фамилия, был одним из непосредственных участников. И кардиолог – то ли Полина, то ли Алина. Не скажу точно, кем она Платонову приходилась. Короче, он её сам прооперировал.

– Руку ампутировал?

– Нет, с рукой без него обошлись. Но она ещё и ожоги получила тогда, Платонов ей лицо собирал по частям.

– Кошмар какой. Молодая?

– Я её никогда не видел, а про них тут почти не говорят. В смысле, про эту историю. Как будто запретная тема. Пару раз пытался вскользь упомянуть, думал, хоть кто-то расскажет – ни в какую. Сразу переключаются.

– А почему Платонов этот уволился?

Добровольский пожал плечами.

– Меня бесполезно спрашивать. Вакансию выложили на сайте больницы, когда Платонова уже здесь не было. Я как увидел, что комбустиолог требуется, уже через тридцать секунд звонил сюда. Мечта всей жизни была. Сбылась, правда, почти через двадцать лет. Я пришёл на собеседование, заведующий мои корочки все посмотрел, поспрашивал про районную больницу. А я его в ответ: «А что случилось с моим предшественником? Почему ушёл?» Он мне коротенько: «По семейным» – и всё.

Максим замолчал, быстро набрал в Ворде свою фамилию с инициалами, распечатал, вырезал аккуратно, приложил получившийся прямоугольник к папке и накрыл его сверху широкой полосой скотча.

– Я тут на компьютере думал найти хоть что-то, что от него осталось. Только дневники, комиссии всякие, посмертные эпикризы, тексты операций. Излагал всё грамотно, точно, спасибо ему за то, что оставил.

– Больше ничего?

Добровольский помотал головой:

– Ничего.

Она помолчала, потом спросила:

– Ты ложиться будешь?

– Я жду.

– Чего?

¹ Об этих и других событиях рассказывается в романах И. Панкратова «Бестеневая лампа» и «Индекс Франка».

Добровольский посмотрел на часы.

– Половину третьего.

– А что будет в половину третьего?

– Если Балашов не позвонит, значит, всё в порядке с зондом.

Одеяло слегка приоткрылось. Свет прожектора бросил рельефные тени.

– Спать не обязательно.

– Я понимаю, – вздохнул Максим. – Но я не смогу.

– Я смогу.

– С козырей не заходи. – Добровольский верил, что она сможет всё. – У меня мозг сейчас вообще другим занят.

– И зачем я тогда пришла?

– А у тебя были варианты? – усмехнулся Максим. – Да ладно, я же пошутил.

Но было уже поздно – ему оставалось только смотреть, как на обнажённое женское тело постепенно возвращаются разные аксессуары. Потом из-под него выдернули халат, который уже давно сполз со спинки кресла вниз. Добровольский не сделал ни малейшей попытки остановить этот процесс. Надевая халат, она вдруг отчётливо прошептала, не глядя на Максима:

– Просто кого-то убивают долго, а кого-то быстро.

У Добровольского по спине пробежали мурашки от этого шёпота, но он не повернулся, чтобы проводить гостью хотя бы взглядом. За спиной хлопнула дверь – для почти двух часов ночи это был своеобразный знак протеста. Он вдруг понял, что за последние несколько дней таких расставаний было уже два. Сейчас, конечно, она дала волю эмоциям, а в прошлый раз он просто заснул – но, чёрт побери, всё-таки уже два раза подряд она уходит отсюда, на ходу чуть ли не запрыгивая в бюстгальтер и халат.

Максим посмотрел на часы и понял, что Балашов уже не позвонит. Пересел с кресла на диван, прикрыл глаза, а потом медленно повалился на бок, стараясь точно попасть в ещё тёплые вмятины на подушке и простыне. Одеяло он натягивал уже практически во сне, вдыхая запах женских духов, оставшийся на постели.

7

В очередной раз стоя в операционной перед каталкой с Клушиным, Добровольский смотрел на его ноги, где чуть повыше пальцев на каждой стопе были наколоты короткие фразы.

– Это же просто статусы какие-то, – сказал он в ожидании, пока Елена разрежет повязки. – Тюремный «ВКонтакте». Типа «Меня сложно поймать, трудно посадить и невозможно выпустить по УДО».

– Ты про что? – Балашов был поглощён протоколом реанимации.

– Видел, что у него на ногах набито?

– Да мне как-то...

– Мне до поры до времени так же было. – Добровольский указал пальцем в стерильной перчатке на правую ногу пациента. – «Так мало пройдено дорог», «так много сделано ошибок!» – это было уже на левой. – Ничего не замечаешь?

– А что надо заметить? – Балашов подошёл поближе, присмотрелся.

– Виталий Александрович, вы мешаете, – буркнула Елена, протискиваясь между ним и каталкой. – Вы будете работать или татуировки читать?

– Да ладно, ладно. – Балашов понял руки и отступил на шаг. – Говори уже, куда смотреть, – обратился он к Добровольскому.

– После слова «дорог» – видишь, запятая? – посмотрел на коллегу Максим. – Запятая, понимаешь?

– И что?

– Как что? – возмутился Добровольский. – Ты думаешь, он в русском языке соображает?

– Это ж вроде правильно, – пожал плечами Балашов.

– Конечно, правильно. – Добровольский заметил, что с его стороны Елена уже все разрешила, и потянул на себя повязки на левой голени. – Мне эта запятая мысль подкинула – у них на зоне литературный консультант сидит и тексты татуировок проверяет. Приходит к нему вот такой Клушин и говорит: «Хочу Есенина наколоть!»

– А это Есенин?

Добровольский слегка опешил от вопроса:

– А кто? «Ведь и себя я не сберёг для тихой жизни, для улыбок. Так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок». Сергей Александрович Есенин собственной персоной.

– Мы в школе такое не проходили, – задумчиво прокомментировал Виталий.

– Спасибо учителю русского и литературы. – Добровольский полностью снял повязку, Елена протянула ему тампон с перекисью. – Нина Григорьевна Топоркова, земля ей пухом. Если сверх программы ничего не знал – полный дурак. Если знал, но мало – туда-сюда ещё, но тоже не звезда. Приходилось читать, учить. Втянулся. – Он обошёл каталку, встал у правой ноги и принялся снимать повязку. – Так вот – приходит он, просит Есенина. А ему: «Текст покажи!» Он показывает. «Где взял?» – спрашивают. «На стене в изоляторе прочитал и запомнил». Ему подзатыльник – тресь! «Что ж ты нашего всенародно любимого поэта так неграмотно цитируешь?! Здесь после слова «дорог» – запятая! Это сложное безличное предложение, где глаголы выражены страдательными причастиями! Сложное, дурилка картонная! Потому запятая!»

– Какими причастиями? – спросила Елена, замерев с очередным тампоном в руке.

– Страдательными, солнце моё, страдательными, – протянул руку Добровольский. – Восьмой класс школы.

– Тоже Топоркова? – уточнил Балашов, глядя на Максима и на татуировку уже какими-то другими глазами.

– Угу, – ответил тот. – Или вот представь. Некоторые приходят, а им говорят: «Ты Есенина не достоин! Рановато пока его колоть. Вот тебе на пробу: «Они устали!» А года два-три отсидишь – пересмотрим решение».

– Судя по тому, что я порой вижу, – развёл руками Балашов, – до Есенина мало кто досиживал. Какие-то русалки, лошади, «Живу грешно, умру смешно», бред про зону, про судью...

– «Храни любовь, цени свободу». – Поддерживая ногу, Добровольский помогал бинтовать. – Всякое видел. Есенина – первый раз.

– Где это вы видели? – ловко наматывая бинт, спросила медсестра.

– Много будешь знать, – произнес Максим, – жить, Леночка, будет грустно и неинтересно. «От многой мудрости много печали», как говорил царь Соломон.

Медсестра довольно выразительно переглянулась с Балашовым. Варя, до этого молчавшая, вдруг спросила:

– А можете ещё что-то прочесть?

Добровольский на мгновение застыл, хотя Елена давно уже показывала ему, что ногу можно опускать.

– Есенина? – спросил он через пару секунд.

– А можно выбирать? – Варя улыбнулась. – Есенин вполне устроит.

– Выбирать, безусловно, можно, – наконец-то опустив забинтованную ногу Клушина на каталку, ответил Добровольский. – Как говорила моя незабываемая Нина Григорьевна, каждый интеллигентный человек в состоянии помнить примерно сто пятьдесят стихотворений. И я бы уточнил – не просто в состоянии, а фактически обязан.

– Я в пределах школьной программы помню штук десять, наверное, – прокомментировал это заявление Балашов. – Но и то – чаще всего обрывки. А ты – сто пятьдесят?

– Шутишь? – Максим принялся за повязку на правой руке пациента; тот немного дёрнулся, шумно вдохнул. Балашов постучал пальцем по подоконнику, Варя встала и ввела предварительно набранный в шприц фентанил.

– Сто пятьдесят – это недостижимый идеал, – сказал он, освободив раны на руке от бинтов. – Хорошо кровит. В принципе, Виталий Александрович, рука готова, послезавтра берём... Так вот, сто пятьдесят или больше – если твоя работа с литературой связана, – посмотрел он на Варю. – Топоркова наша могла с любого места хоть Шекспира, хоть Маяковского. Иногда казалось, что подглядывает куда-то... Особо впечатляло, как она Гомера читала. Точнее, Жуковского, который «Илиаду» перевёл. Гекзаметр – это же ужас какой-то. По крайней мере, для меня. Помню, никак не мог выучить отрывок из «Илиады» – она несколько раз заставляла пересдавать. Кошмар, конечно. – Он отошёл от каталки, давая возможность Елене подойти и примерить большую марлевую рубашку к поверхности раны. – Давайте заканчивать уже. Что ещё осталось, спина?

– А Есенин? – жалобно спросила забытая Варя. – Вы же...

– Спокойно. Никто не забыт и ничто не забыто. Сейчас просто не самый удачный момент.

Они с Еленой покрутили Клушина поочерёдно в обе стороны, перестелив под ним простыню и заменив повязку на спине. Варя всё это время держала голову пациента, оберегая его шею от резких поворотов и провисаний – и Добровольский чувствовал, как она прожигает его маску взглядом.

«Ещё не хватало тут на Есенина медсестёр кадрить», – подумалось ему, когда он во второй или третий раз встретился с ней взглядом.

– Что-то я слегка устал, – отойдя, наконец, от каталки, вдохнул Максим. – Может, Есенина в следующий раз?

Варя сразу потухла, опустила глаза куда-то в пол и кивнула.

– Конечно, я же понимаю, – согласилась она, отошла к подоконнику и принялась что-то записывать в протокол анестезии. Добровольский ещё пару секунд смотрел ей в спину, а потом повернулся к Балашову.

– Спектакль окончен, гаснет свет. Вы его совсем только не будите, в клинитрон проще закидывать, пока он не при памяти. Слишком много ноет и мысли матом излагает. А пока сонный – вроде и неплохой человек.

Он вернулся в ординаторскую, где обнаружил в окружении своих коллег Порываева, главного хирурга больницы. Лазарев и Москалёв слушали его, медленно потягивая кофе из чашек.

– ...Профессор Шнайдер в России долгое время прожил, по-русски говорил очень хорошо, с матерком и всеми падежами, – рассказывал Анатолий Александрович. – «У вас в стране, – говорит, – поле непаханое для хирургической практики. Если бы я мог здесь в молодости тренироваться, выучился бы гораздо быстрее. Три пункта назову, загибай пальцы. Первое – адвокатов медицинских нет. Второе – страховых компаний нет. Третье – жизнь человеческая ничего не стоит». А между прочим, для восьмидесятих годов – всё так и было, ни словом он не соврал. Мы много оперировали, а потом через одного на кладбище вывозили. И Шнайдер тогда сказал: «Вы, конечно, скоро поймёте, что делать виртуозные операции, а потом всех хоронить – это неправильно. Онкология, конечно, поле боя и долго ещё им останется, но вы всё делаете, чтобы ваш пациент погиб в бою, а мы предлагаем ему пожить чуть дольше, чем солдат на передовой выживает». Ох, как долго я эту доктрину принимал. И ведь теперь понимаю – разумно это всё, очень разумно. И сложные операции надо делать, пока ты сам молодой – больной умер, а у тебя даже давление не подскочило. Потом, с годами, любая такая смерть – и ты можешь с ним рядом прилечь.

Порываев внимательно смотрел на то, как его слушают и какое впечатление производит этот рассказ.

– Один раз сам чуть инфаркт не заработал, когда на сердце работать пришлось. Я тогда вообще в оперирующие хирурги не набивался – просто пришёл коллега и говорит: «Есть образование в средостении, мы готовимся его удалять. Подскажи, а если можешь – помоги». Я снимки посмотрел. Сердце большое, образование то ли в средостении, то ли к сердцу прилежит, то ли вообще частью сердца является – непонятно. Но интересно стало. Я подумал и согласился. Операция – на следующий день. Приходим, моемся-обрабатываемся, потом торакотомия, всё стандартно. Выясняется, что ближе всего к правде оказался третий вариант. Большая опухоль непосредственно сердечной мышцы. Раскрыли перикард, прикинули, что к чему. Интересная штука, конечно. Основание довольно широкое, но рискнуть можно. Хирург аппарат наложил, на меня посмотрел и, как говорится, нажал на спусковой крючок.

Добровольский видел, что все в кабинете замерли в ожидании. Порываев не стал бы рассказывать историю какой-то операции, в которой ничего не случилось.

– Аппарат снимали в надежде, что всё держится. И у нас на глазах скобки расползаются, как будто из сердца вылезет сейчас кто-то. А это сразу что? Сразу кровь во все стороны. Глаза у всех во-от такие, а что делать надо? Правильно. Я сердце рукой р-раз! – и сжал. И пальцем на реаниматолога показываю. И он нам счёт времени вслух: «Один... Два... Три...» И получается, что у меня рука занята, а шить надо.

– А можно вопрос? Извините, что перебиваю, – не выдержал Добровольский. Профессор перевёл взгляд с Лазарева на Максима. – Я просто никогда не был в таких ситуациях и думаю, что вряд ли окажусь. Сердце – оно же сопротивляется? Хочется понять, что за ощущения в руке при этом. И не только в руке.

Порываев, не моргая, смотрел на Максима несколько секунд, а потом вдруг ответил – довольно резко и громко:

– Конечно! Конечно, сопротивляется! – Он не замечал, как сжимал и разжимал кулак на правой руке. – Очень необычное ощущение. Если котёнка взять, маленького, одной рукой... Так, чтобы почувствовать, как он освободиться хочет. Представляешь?

Максим кивнул.

– Он хочет – а ты держишь. – Анатолий Александрович в конце концов сжал кулак и потряс перед всеми. – А что в голове при этом творилось, вспомнить сложно. – Он опустил руку. – Помню, как считали где-то сбоку. Ассистент шьёт – а оно прорезается. Шьёт снова – и опять прорезалось. А мастер он был, я вам скажу, высокого уровня.

Профессор обвёл всех взглядом:

– Когда у него третий или четвёртый шов псу под хвост пошёл, я понял, что мы проиграли. Что я сейчас этого котёнка отпущу – и всё, закончили, расходимся. Но в какой-то момент понимаю, что не смогу просто так уйти, пока сам не попробую. Мы меняемся, я ему отдал сердце, он мне инструменты. Первый мой шов прорезался – я ещё завязывать не начал. А уже вторая минута к концу подходит. И тут – следующий шов ложится и затягивается. Я глаза поднимаю на ассистента и понимаю, что он даже не дышит. Стоит, как статуя, не моргает, смотрит в рану. Шью дальше – и нормально всё. Рана всё меньше и меньше. Зашил и говорю: «Отпускай!» А он не слышит. Я рукой так перед ним туда-сюда над сердцем – он как вздрогнет! И рука сама разжалась. На счёт «двести два», это точно помню. Я так быстро после этого, кажется, никогда не шил.

Он посмотрел в окно, вспоминая те события.

– Смотрим, что получилось – там, конечно, струйки сквозь швы бьют, но это уже ведь совсем не то, что было, не такая дыра. Короче, всё восстановили. И пациент этот потом своими ногами домой ушёл. Что это было? Как это работает? Я ведь, по сути, сдался уже – а чаще всего, как только слабину дал, смирился, то уже и не получается ничего больше. Что-то же заставило меня взять инструменты?

Добровольский вдруг вспомнил себя с зондом Блэкмора в руках рядом с Рудневой. Что заставило его взять эту шайтан-трубу и засунуть живому человеку через нос в желудок?

– Это называется «профессионализм», – подумав, ответил Лазарев. – Когда сначала делаешь на рефлекс, а потом осознаёшь.

– Так можно, наверное, машину водить, – вставил свои пять копеек Добровольский. – В хирургии, да и в медицине в целом, хотелось бы руководствоваться не только подкоркой. Моё личное мнение, не претендую.

Профессор внимательно посмотрел на Максима, потом спросил:

– Вы когда на днях кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода останавливали – как действовали? Профессионально? Осознанно?

– Я бы сказал, что действовал скорее сумбурно, нежели планомерно, – не постеснялся он рассказать о своих ощущениях. – Манипуляцию выполнял впервые – можете представить, каково мне было.

– Могу. – Профессор усмехнулся. – Но ведь зонд в ваших руках не случайно оказался. Вы к этому решению как-то пришли. От момента осмотра пациента до развития осложнений и далее со всеми остановками. В чем же сумбур?

– Я бы кое-что в своих действиях местами поменял, – пожал плечами Максим. – В выводах, в логистике. Возможно – не утверждаю! – осложнение можно было предвидеть. Но это уже высший пилотаж.

– Очень хорошо, что вы свои действия подвергаете анализу и возможному пересмотру, – довольно казённо, но с нотками похвалы в голосе сказал Анатолий Александрович. – Это говорит о внутренней дисциплине и самокритике. Но в вашем случае предвидение кровотечения не дало бы ничего, кроме его ожидания. Зонд Блэкмора превентивно не ставится.

Он встал с дивана и замер посреди ординаторской с пустой чашкой в руках, глядя куда-то в пол. Добровольский знал, что так Порываев обычно ставил точки в разговорах – молчал около минуты, за которую, по-видимому, проговаривал про себя тезисы прошедшей беседы и убеждался в том, что сделаны правильные выводы.

– Я уверен, что помогла мне тогда какая-то профессиональная злость, – вдруг произнёс Анатолий Александрович. – Злость на то, как я вляпался в операцию, к которой не подготовился; на то, что подвёл аппарат, которым до этого сшивали тысячу раз – и никаких проблем; на то, как не везло оперирующему хирургу. И знаете, я теперь, после нашего разговора, понял, что было самым сложным тогда.

Он попытался отхлебнуть из чашки, а потом сказал:

– Отпустить котёнка. – Профессор посмотрел на Максима. – Счёт шёл на секунды, вы понимаете? И отдал я сердце – просто за пару мгновений. Перехватили друг у друга. Но за эти мгновения – столько всего в голове пронеслось... А может, я придумываю всё сейчас и не было ничего? Может, это я уже домысливаю, приукрашиваю? – спросил он сам у себя.

– Было, Анатолий Александрович, я уверен, – сказал до этого молчавший Москалёв. – Просто время, наверное, пришло это вслух проговорить. Мне, например, чертовски интересно было послушать. Ну, и насчёт здоровой мотивирующей злости – в точку, как мне кажется. У самого частенько случаются приступы.

Он улыбнулся, немного разряжая тягостную атмосферу, которую, сам того не желая, соткал из воспоминаний профессор. Порываев поставил чашку на стол, снял очки, протёр их о полу халата, вздохнул, надел обратно и посмотрел на Москалёва.

– Здоровая мотивирующая злость – это хорошо, – согласился он. – Очень хорошо. Надо будет на занятиях со студентами воспользоваться определением при случае, если вы не против.

– Что вы, это ж не какая-то авторская цитата, просто рассуждения. – Москалёв попытался сделать вид, что говорит это абсолютно спокойно, но было видно, что похвала профессора его неплохо так зацепила. Когда Анатолий Александрович отвернулся, чтобы пойти к двери, Михаил опустил взгляд и улыбнулся.

Открыв дверь, профессор обернулся, оглядел всех, что-то шепнул себе под нос, говоря с невидимым собеседником, и вышел в коридор.

– Я здоровую и сильно мотивирующую злость запомнил ещё с колхоза, – задумчиво произнёс Алексей Петрович. – Молодых легко мотивировать, если они какую-то несправедливость ощущают. Вот и нас тогда, помню, с оплатой за колхоз кинули. Обещали заплатить, а потом про стипендию вспомнили, мол, приедете, получите, там всех рассчитают. А мы уже наслышаны были, что предыдущий курс ничего не получил – и чуть ли бунт на корабле у нас не случился.

Лазарев помолчал, улыбаясь своим воспоминаниям.

– Поговорили с преподавателями. С нами тогда офицеры с военной кафедры ездили. Что им сказали, на том и стоят; талдычат с колхозным начальством одно и то же, только слова в предложениях переставляют. Мы и обиделись. Ночью взяли камуфляжный костюм у Серёги Лагутенко, он у него за месяц работы странным образом в негодность пришёл, дырки на коленях, пуговицы поотрывались. Он его без сожаления отдал. Дырки мы на скорую руку зашили, потом наводящими швами рукава и штанины заглушили на концах. Набили куртку и штаны сеном, проволокой сцепили и на флагшток у общежития подняли. А привязать его и поднять дело было муторное, я вам скажу. Проволока кончилась в самый неподходящий момент, нитки там уже ничего не держали, Митя Цимбалюк свой ремень пожертвовал – помните, в конце восьмидесятых были такие ремни, как будто из строп парашютных? Пристегнули этого соломенного монстра и подняли, ещё до восхода. На шею ему табличку повесили: «ОН ТОЖЕ ХОТЕЛ ЗАРАБОТАТЬ». Думали – преподы проснутся, офигеют, осознают. Наивное студенчество, что поделать.

– Осознали? – спросил Добровольский, предполагая отрицательный ответ.

– Дело не в этом оказалось, – усмехнулся Лазарев. – В то утро первым в поля поехал председатель с инспекцией. И увидел нашего висельника. Мне кажется, так быстро на полста первом «газике» в Заречном никто никогда не ездил. Мы проснулись, потому что гудки услышали ещё издали – смотрим в окно, а там грузовик мчится со скоростью звука. Водила профессионал, влетел к нам на плац перед общагой впритирку к фонарному столбу и тормознул с таким визгом, что народ со страху чуть из окон не выпрыгивал.

Алексей Петрович словно заново переживал те события – откинувшись в кресле, он смотрел куда-то в потолок, оказавшись в своём студенческом прошлом.

– Председатель выскочил из машины и давай орать что-то на тему «Снимайте скорее, вызывайте «скорую!» А сам к столбу бежит и тянет за трос. Руки себе изрезал, мы же ему потом и бинтовали. Тянет, дёргает; наши из общаги высыпали и встали вдоль дома – а последним Двуреченский вышел, майор с военки, подтяжки на ходу закидывает и всех раздвигает, как ледокол. Только он из толпы выдвинулся, как наш Страшила такого резкого спуска не выдержал, зацепился за что-то и на середине порвался. Там, где у него, если можно так сказать, была талия. И штаны на председателя упали.

– Инфаркт? – уточнил Москалёв.

– Да почти, – посмотрел на него Лазарев. – У нас ведь про то, что он соломенный, знали то ли три человека, то ли четыре. Когда он порвался, почти все девчонки синхронно вскрикнули, а Двуреченский такое завернул, что даже парни, что в армии служили, на него на секунду обернулись. Короче, председатель штаны поймал, сообразил, что к чему, но на ногах удержаться не сумел от нервного напряжения. Сел на землю, оглянулся – и видит, что на него сто человек смотрят. Тут-то мы и узнали, что такое здоровая мотивирующая злость. Совсем не та, из-за которой мы этого камуфляжного Страшилу штопали и набивали. Председатель встал, взял эти штаны и пошёл к нам, а они по земле волочатся. Просто кадр из фильма «Зловещие мертвецы». Идёт и матом кроет так, что стекла в общаге звенят. И среди этого потока без падежей один вопрос был: «Кто?» Алексей Петрович вздохнул.

– Никто никого не сдал, хотя понять можно было запросто, чей камуфляж. Двуреченский мимо Лагутенко прошёл, зыркнул на него, но ничего не сказал. А колхозную зарплату нам выплатили. На следующий день. И сразу же всех в автобус и по домам, пообедать даже не дали.

Лазарев посмотрел на коллег и добавил:

– Вывод из этой истории простой: главное, чтобы одна злость с другой не сильно пересекалась. А то за столом профессор с оперирующим хирургом котёнка своего разорвали бы нахрен. Каждый бы хотел зашить. Думаете, не бывает такого никогда? «Нет, я сам начал, я сам и закончу!»

Добровольский промолчал, потому что думал он немного по-другому. Да, истории и профессора, и Лазарева хорошо иллюстрировали ту самую злость, которая могла и стимулировать к созиданию, и разрушать. Но он точно знал, что именно двигало лично им тогда ночью в реанимации.

То, что заставило его поставить зонд – то же и помогло бригаде хирургов удачно завершить операцию на сердце.

Это был – страх.

Именно с ним инструменты передаются более опытным ассистентам, и с ним их берут те, на кого остаётся последняя надежда.

Это не страх за себя или за пациента – какой-то очень глубокий, без конкретной точки приложения. Страх вообще всего, что происходит; необратимости, ответственности, сжигания мостов, ошибки и непредопределённости финала.

Где-то на границе страха и смерти тебя ждёт трусость. И всё, что ты можешь – не пустить её в свою голову. Не пустить её в операционную, не заразить ею бригаду.

Первый шов у Порываева прорезался. Второй уже нет. Потому что он не позволил себе перейти границу. Но никто в этом не признается – потому что это и в слова-то облечь довольно сложно.

Максим вспомнил, как толкал скользкий зонд в нос Рудневой, бросая взгляды на кровь, размазанную по её щекам. Вспомнил, как тянул фиксирующий баллон, как надувал основной. К тому времени страх перед предстоящей манипуляцией уже полностью улетучился – прямо в процессе её успешного выполнения. И самым главным к тому времени стало – грамотно закончить, установить сброс и уверенным голосом сказать Зинаиде, что всё получилось. После чего оставить её на попечение медсестры и бодрым шагом пойти в ординаторскую, чтобы описать в истории болезни все подвиги Геракла.

– Отпустить котёнка, – шепнул себе под нос Максим, повернулся к компьютеру и начал печатать текст дневника.

8

Добровольский смотрел на коробку конфет и чувствовал, как где-то внутри него дымятся предохранители.

Обычная коробка. Самое банальное для приморца «Птичье молоко», незаметно заклеенное по бокам тонким скотчем, чтобы крышка случайно не раскрылась. Внутри – ряды сладких кирпичиков в шоколаде. Максим представлял себе жёлтую, белую и коричневую начинки в каждом из рядов, вспоминал, как обычно ел эти конфеты в детстве – потихоньку объедая шоколадные стенки «кирпичиков» и оставляя зефирку напоследок – это уже потом он узнал, что начинка называется суфле, но для него она на всю жизнь осталась зефиркой.

Коробка лежала на столе. Добровольский не прикасался к конфетам – Марченко сама положила их туда, куда он показал взглядом.

– Мне кажется, она должна догадаться, почему уже в... В четвёртый раз я именно так принимаю её презенты, – сказал Максим, не отрывая взгляда от «Птичьего молока». – Ничего не могу с собой поделаться.

Началось это около двадцати дней назад, когда к ним в отделение по «скорой» днём поступила молодая и относительно нетрезвая женщина – Люба Марченко. Добровольский вышел из кабинета и встал напротив, надеясь сразу понять, по какому поводу она здесь.

Синяк под левым глазом, забинтованная левая кисть. Всё. Хотя нет, к этому можно было добавить злой безадресный взгляд, непонятного цвета многократно линявшую кофту, мятую юбку, дамскую сумку с оборванным ремешком и кроссовки без шнурков.

– Подпишите, – фельдшер протянула сопроводительный лист. – У нас ещё два вызова в очереди, а мы тут всякую пьянь возим.

– Чой-та всякую пьянь? – возмутилась пациентка. Хирург сразу обратил внимание на дефект речи – ему казалось, что у неё не до конца раскрывается рот, причём только с одной стороны, из-за чего говорила она, как в мультиках. – Что за отношение?

Она попыталась встать, но вдруг тоненько взвыла и аккуратно опустилась обратно.

– Да заткнись ты, – коротко кинул фельдшер, дождавшись подписи. – Обезболили. Пере-вызывать не стали. Вам всё равно смотреть. Ладно, мы поехали.

Максим кивнул, дождался, когда хлопнет дверь, посмотрел в лист и спросил:

– Что случилось и когда, Любовь Николаевна?

– Вчера, – коротко кивнула она. – Вчера случилось. В гостях. Кипятком облили меня.

– Вчера? – уточнил Добровольский. – А «скорую» вызвали – сегодня. Почему?

– Потому что не могла. – Максим видел, что она хочет закинуть ногу на ногу, но под юбкой что-то сильно мешает. Похоже, все ожоги были на бёдрах – сидела она, отнюдь не интеллигентно расставив ноги и постоянно об этом забывая.

– Что же вам мешало, Любовь Николаевна? – Добровольский сунул руки в карманы халата. – Алкогольное опьянение?

– Можно просто Люба, – подмигнула ему пациентка. – Любо, братцы, любо... – попыталась она спеть, но смогла только прошептать эти известные слова, после чего вздохнула и шмыгнула носом.

– Хорошо, – согласился Максим. – Пусть Люба. Давайте поподробнее. Когда был ожог, как вы его получили, что делали сразу после и потом в течение суток?

– Очень много, – сказала Марченко. – Очень.

– Что много?

– Вопросов, сука, много. Как ты их все запоминаешь?

Она откинулась на стуле, не заметив, что ударила головой о стену.

– «Тыкать» мне не стоит, уважаемая, – слегка скрипнув зубами, уточнил Добровольский. – Идём в перевязочную, смотрим. А вы пока вспоминайте всю историю, что с вами вчера приключилась.

– Да он ко мне как к дочери всегда относился! – сказала Марченко в потолок. – Реально тебе говорю... Вам, – поправились она и посмотрела на Максима.

– Берём или как? – услышал Добровольский голос Марины из двери перевязочной. – Я через двадцать минут с чистой совестью на автобус пойду, будете сами разгребать.

Максим Петрович указал рукой на перевязочную:

– Проходим, садимся на кушетку, показываем.

– Что показываем?

– Фокусы, что же ещё! – развёл руками Добровольский. – Ожоги свои оказываем. Где вы их прячете?

Через несколько минут картина прояснилась. Живот, обе ноги, левая рука. Марина вздохнула, взяла мокрую салфетку, пинцет и аккуратно начала убирать отслоённый эпидермис, висящий лохмотьями.

Добровольский, сложив руки на груди, смотрел на этот процесс. На животе он увидел татуировку в виде какой-то змейки, присмотревшись, понял, что набита она была поверх послеоперационного рубца.

– Аппендицит?

– В детстве, – кивнула Марченко. – А можно поосторожнее? – переключилась она на Марину, но, встретив молчаливый суровый взгляд, замолчала.

– Так что с какой-то дочерью? – спросил Добровольский, вспомнив слова в коридоре. – И кто кого облил?

– Я в гостях была. – Люба перестала замечать, как медсестра снимает с неё пласты отслоившегося эпидермиса, и начала рассказывать. – Гости чисто символические – в другом подъезде.

– А живете где?

– В гостинке на Луговой, – в очередной раз скривив рот, ответила Марченко, слегка вдруг начав шепелявить. – Я в двадцать пятой квартире, а друзья мои в шестьдесят восьмой. Ну как друзья? – в очередной раз решила она уточнить у самой себя. – Дядька мой и жена его, Людка. Она, сучка, меня и приревновала, прикиньте? На ровном месте, тварь!

Люба стукнула по кушетке.

– Ещё одно движение... – начала Марина, но Марченко развела руки, извиняясь и всем видом показывая, что больше так не будет.

– Сорян, сорян, – пожала она плечами. – Возмущению просто нет предела. Я дядьку с самого моего детства помню. У меня отец сел рано. За убийство. Не для себя рано, ему за тридцать тогда уже стукнуло. Для меня рано, мне четырёх ещё не было. И дядя Юра мамке помогал плотно очень. Деньги давал, со мной уроки делал. Правда, ей те деньги не особо на пользу шли, она всё больше водку покупала, так что я когда с мамашей пьяной, когда с дядей Юрой... Ну и там всякое было... В смысле не с дядей Юрой. – Она подняла на него глаза и покачала головой, отрицая всё, что могло сейчас прийти в голову хирургу.

Добровольский хотел было ускорить процесс наводящими вопросами, но понял, что лучше дослушать полную версию. Люба, видя, что её слова поняты правильно, успокоилась и продолжила:

– Отец вышел через двенадцать лет, когда мамки и не было уже. Я школу заканчивала, мне какая-то дальняя тётка опеку оформила, но реально со мной дядя Юра был. Отец недолго прожил – помер от туберкулёза через годик. Считайте, и не было у меня отца. Я его только на свиданках видела – в год раза два, не больше. А дядя Юра у меня на выпускном гулял

вместо отца. Потом женился на Людке. Это уже не первая жена, а третья, что ли, я их особо не считала...

Она задумалась, прошептала что-то, загнула пальцы.

– Да, третья. Продавщица из «Пятёрочки». Ничо так баба, всё при ней. Но ревнивая. А дядя Юра меня как дочку – обнимает, целует. Между нами двадцать пять лет разницы, чего ревновать? Вот и вчера – присели на кухне, выпили, я к нему на колено залезла, чтобы до салата дотянуться. А Людка с чайником в руках стояла – и как Гитлер, сука, без объявления войны... Я не думала, что это так больно. Она ещё на дядю Юру попала, но не сильно. Мы с ним со стула вместе как соскочили, так сразу и упали. Людка орёт что-то про мужа, про то, что убьёт, и с ноги мне в бочину...

Марченко показала примерное место удара. Максим отметил про себя назначить ей рентген, чтобы исключить перелом рёбер. Медсестра тем временем закончила хирургическую обработку, но не торопилась к столику за повязкой, слушая историю.

– Короче, мы в этой луже кипятка поваялись, я вскочила, в ванную ломанулась, хотела под холодную воду. А Людка решила, что я там закрыться хочу, за волосы меня схватила. Все орут, на дядю Юру наступили, уже и не помню кто. Я ей: «Мразь, отпусти меня!» Она что-то про то, как глаза мне выцарапает. Блин, как в кино.

Добровольский уже понял, что придётся давать телефонограмму про насильственные действия, но надо было дослушать до конца. Он кивнул Марине – не стой, сама же на автобус хотела успеть; та очнулась, намочила большие салфетки в хлоргексидине и принялась бинтовать.

– Ссс... – зашипела, как змея, Марченко. – И больно, и прохладно... И, короче, я уйти хочу, а они уже вдвоём дверь на лопату, телефон отняли и экран на нем разбили. Решили, что я сейчас полицию вызову. А я всё-таки до этого в «скорую» успела дозвониться, а уже потом дядя Юра телефон забрал, а когда «скорая» приехали, они с Людкой ещё бутылку вмазали и дверь не открыли. Я слышала, как врач стучал. Сама орала как резаная. Не открыли. Я им: «Полицию вызовите!» Они постучали ещё недолго, поматерились за дверью и ушли. Я говорю: «Они полицию стопудово вызовут, лучше отпустите меня!» Людка мне говорит: «Увижу возле моего Юры – в окно выкину тебя, а потом скажем, что ты пьяная сама прыгнула!» Открыла дверь и пинком меня на площадку, а следом телефон выкинула и кроссовки.

– Весело кто-то отдыхает, – сказала Марина, завязывая концы бинта на ноге. – Надо встать будет, чтобы вокруг рубашку обернуть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.